


ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН
БАРХАТНАЯ КИБИТКА

(роман о детстве)

18+



Павел Пепперштейн
Бархатная кибитка

«Альпина Диджитал»

2023

Пепперштейн П. В.

Бархатная кибитка / П. В. Пепперштейн — «Альпина Диджитал»,
2023

ISBN 978-5-91-671093-9

Новый роман Павла Пепперштейна, на первый взгляд посвященный описанию собственного детства. На самом деле этот роман представляет собою опыт изучения детства как культурного феномена. Различные типы детств и отрочеств (английское детство, французское, позднесоветское, русско-дворянское, скандинавское) так или иначе появляются в этом повествовании. Детство осторожно крадется по тонкой линии между мирами. В том числе между мирами литературных традиций и пространством литературного эксперимента. В последних главах выясняется, что роман представляет собой испытание нового жанра, которому автор присвоил название «эйфорический детектив».

ISBN 978-5-91-671093-9

© Пепперштейн П. В., 2023

© Альпина Диджитал, 2023

Содержание

Глава первая	8
Глава вторая	17
Глава третья	23
Глава четвертая	24
Глава пятая	26
Глава шестая	29
Глава седьмая	31
Глава восьмая	36
Глава девятая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Павел Пепперштейн

Бархатная кибитка: Роман о детстве

Дизайн обложки создан ППСС

Текст публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации

Издатель П. Подкосов

Главный редактор Т. Соловьёва

Руководитель проекта М. Ведюшкина

Ассистент редакции М. Короченская

Арт-директор Ю. Буга

Корректоры Т. Мёдингер, Ю. Сысоева

Компьютерная верстка А. Фоминов

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© П. Пепперштейн, 2023

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

* * *

ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН
БАРХАТНАЯ КИБИТКА
(роман о детстве)

Москва, 2023

альпина
ПРОЗА

*В уголке за бочкой
Мы нашли щечочка
Он ко всем ласкается
Лаем заливается*

Тяв-тяв

Тяв-тяв

Тяв-тяв, тяв-тяв, тяв-тяв!

Детсадовская песенка

*Посвящаю любимой Соне, которой я рассказывал все эти истории,
прежде чем их записать*

*Автор сердечно благодарит Сою Стереостырски и Наташу Норд
за деятельное участие в создании этого романа*

Глава первая

Роман на море

Я не мог поверить своему счастью. Конечно, как у настоящего агента из американских фильмов, мое бледное лицо не выражало и тени радости – спокойствие и легкая усталость застыли на моем лице. Но внутри меня все ликовало.

Моя радость напоминала бинокль, которым пользуются без определенной цели, просто ради ленивой и беспечной забавы. И в награду за эту бесцельность бинокль моей радости дарил мне то фрагмент далекой зеленой волны, то серую угрюмую белку на кривой ветке, то белую занавеску в окне отеля, где мне предстояло, как я полагал, провести беспечный месяц приморской, вольной и отдохновенной жизни. Я гадал, подходя к отелю: не на окне ли моей будущей комнаты развеивается эта белая занавеска, словно флаг блаженного поражения – флаг, который ветер превращал то в пузырь, то в ангельское крыло?

К отелю, словно бы сконфуженно сложенному из кубиков искрящегося сахара, прилепилось темное кафе в форме поросли бревенчатых теремков. Лукоморные письма над входом сообщали название кафе – «Степан». В «Степане» царствовало безлюдье, только ветер катал по поверхности деревянных столов круглые и клейкие шишки кипарисов и длинные сосновые иглы.

Войдя в отель, я нашептал на ушко пригожей девушке, что на мое имя зарезервирован номер. За это признание меня наградили ключом, но я не отправился осматривать свою бело-снежную каморку, желая отложить это удовольствие до ранних сумерек. Вместо этого я вышел на просторную веранду отеля. Мне хотелось, чтобы горечь кофе сообщила дополнительную сладость минуте моего прибытия в это вожаделенное место.

Веранда отеля напоминала палубу корабля, украшенную по центру бассейном: палуба висела высоко над морем, и отсюда открывался волнующий вид на далекие скалы, на изумрудно-синий простор, где местами белели яхты.

В самом конце веранды-палубы, в месте, соответствующем носу корабля (если бы это был корабль, а не отель), я заметил темную фигуру, закутанную в плед. Кажется, старик – очень высокий, худой, иссохший, далеко вытянувший вперед свои длинные, тощие ноги. Он внимательно смотрел на море, но походил не столько на старого моряка, сколько на древнего индейца чироки – совершенно лысый, смуглый, с вытянутым черепом. Свои узкие витиеватые пальцы он сплел в подобие башенки, а на верхушку этой башенки поместил свой острый, изогнутый подбородок, придающий его лицу сходство с месяцем, каким его вышивают на детских подушках.

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана –
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить.

Издалека доносилась музыка. Некий голос пел песенку.

Плановая, плановая,
Симпатичная такая,
Стройная девчонка из Баку.
Будет мне ночами сниться
Та восточная царица

В темно-фиолетовом дыму...

Ночью, в своей узкой комнате, где белая занавеска продолжала плескаться за окном, сдаваясь ночи с той же охотой, с какой она сдавалась ясному смолистому дню, я время от времени просыпался, продолжая напевать эту сладкую бедовую песенку. Но слова искажались полусном, и вот уже являлся передо мной белоснежный зайчишка из Баку по прозвищу Шюбка Белый, скачущий под лиловыми сводами дворца, богатого гигантскими изваяниями, изображающими полунагих дев, застывших в самых непристойных позах с самыми невинными лицами. Дворец принадлежал окаменевшему Шалтаю-Болтаю: это безликое мраморное яйцо, увенчанное многоступенчатой короной, восседало на троне в центре наиболее гигантской из зал, а здесь каждая зала блистала не столько зеркалами и позолотой, сколько оголтелым и беспочвенным гигантизмом.

Просыпался я много раз, пока наконец не увидел светозарное утро.

За завтраком в отеле оказалось весьма людно.

– Конференция! – кратко крикнула мне ликующая официантка, словно бы это слово могло все объяснить и в то же время внушить бездонную радость.

Царствовала действительно праздничная и почти детская атмосфера. Впрочем, в атмосфере этой присутствовало нечто сумасшедшее.

Я кое-что слышал уже о конференции. Когда я позвонил в этот отель из того далекого города, откуда имел счастье затем сбежать, мне, в ответ на мою просьбу зарезервировать комнату на мое имя, сообщили, что я чрезвычайный удачник – в отеле имеется единственная свободная комната. Все прочие номера заняты по вине конференции. Я увидел сразу множество людей, которые радостно галдели, сидя за столиками, – все они были молоды, нарядны, предельно оживлены. Их объединяла какая-то бешеная и явно только что родившаяся любовь друг к другу. Широкие улыбки сияли на округлых славянских лицах, покрытых свежим приморским загаром. И среди этих славянских лиц, словно камень среди яблок, выделялось лицо американца – спокойное, серьезное, удлиненное, наделенное светлыми нейтральными очами. Это был субъект лет тридцати, сидевший чрезвычайно прямо и скромно, улыбаясь не вполне американской улыбкой – одними лишь уголками губ. Этот иноземец каким-то образом являлся эпицентром царившего здесь восторга, но мысли мои занимал не он, а тот старик, которого я видел утром на веранде. И о старике спросил я юную официантку.

– Тот господин с необычайно длинными ногами, витыми пальцами и лицом индейца – тот, что вчера сидел на веранде в час моего прибытия сюда, – он тоже делегат этой конференции?

Официантка округлила свои зеленоватые глаза и стала уверять меня, что никакого индейского старика здесь не видела.

Ничего не добившись от зеленоглазой, счастливой, загорелой официантки, я скромно ожидал свой завтрак.

Вокруг плескался гомон участников конференции, которые вели себя все загадочнее. Растроганные участники теперь сидели, держась за руки, образуя замкнутый круг. Они по очереди произносили восторженные слова. Одна опаленная солнцем женщина в легком летнем платье даже расплакалась. Все они были счастливы до конца своих дней, что встретились друг с другом, что узнали друг друга. Слова благодарности, признания в любви звучали ежеминутно. Делегаты все крепче держались за руки, их переполняли светлые чувства. Мне показалось на мгновение, что в мой кофе прекрасная официантка капнула несколько капель могучего эйфоретика. Меня окружали счастливые и сумасшедшие люди, которые, казалось, в порыве бешеной страсти друг к другу сейчас сорвут с себя одежды и сольются в единое тело – беспрестанно совокупающееся само с собой существо.

Развешенные на стенах самодельные плакаты с пронзенными сердцами, румяные лица участников – все это напоминало экзальтированный детский сад. Или же секту, которую спонсирует американское правительство, – очень уж подозрительно выглядел тихий американец, главный организатор этого экстаза. Он, единственный, ничего не произносил и, молча, обнимался и целовался со всеми.

Я прервал свои наблюдения, когда мне принесли белоснежное творожное сердце, апельсиновый сок и кофе. Питаясь, я думаю только о русалках.

Я думаю о русалках, об их мокрых хвостах, о переливающихся на солнце чешуйках. И в честь русалок, во славу их жемчужных сердец, я съедаю на завтрак белоснежный творог в форме сердца, украшенного сладкой мятой.

А после я отправился на пляж. Мне не терпелось зависнуть в йодистой невесомости. Я осуществил свое желание, а после замер на берегу. Солнце заволокло серебристыми облаками. Все вокруг таяло в переливах серо-синего сияния – небо, скалы, галька и даже моя одежда. Моя светло-серая рубашка и штаны цвета свинцовой тучи.

Я прилег поудобнее и, кажется, уснул.

Мне приснились сосновые леса, где прятались саблезубые кони, – стоя ли, стадо ли, табун ли белых коней чуть мерцал под темными кронами. Мне также привиделись два маленьких жирафа – они медленно шли по мягким, пуховым облакам, что сползали с гор. Как неуверенна была их поступь! Как часто они спотыкались!

Когда я проснулся, на небе светило яркое солнце, а неподалеку от меня сидела в задумчивости юная девушка, которая только что вышла из моря. Так я решил, глядя на ее мокрые волосы, роняющие прозрачные соленые капли.

Иногда я бываю крайне скован. Порою неожиданное детское оцепенение охватывает меня, препятствуя моей щенячьей тяге к общению. И в такие минуты я напоминаю себе шкафик, выпавший из окна. Но в иные мгновенья я не обнаруживаю в своей душе никаких препятствий, которые могли бы помешать мне поболтать с незнакомым человеком. Солнечный луч, прямолинейно упавший на светло-серые камни, помог мне обратиться к девушке со следующими словами:

– Знаете ли, я родился в довольно странном доме. Этот дом был по-своему красив, но в темноте всегда казался воплощением уродства тем нахохленным прохвостам, что торопливо пробегали мимо по длинной улице моего детства, которая пасмурно стекала к монументу, изображающему голую царевну, некогда отказавшуюся от короны ради спасения своего народа. Ее мраморное лицо представляется мне в данный момент поразительно похожим на ваше.

Девушка ответила мне лучезарной улыбкой. Все смеялось и хохотало в ее морских глазах, и ее отрешенно-радостное личико отрекающейся царевны (не столько мраморное, сколько фарфоровое, если иметь в виду, скажем, полную морской водой китайскую чашку, сделанную словно бы из свернутого листа полупрозрачной бумаги), все это личико излучало беспечное сияние.

Я не сразу уловил смысл произнесенных ею слов, отвлеченный щедро плещущим потоком ее счастья, но затем значение сказанного дошло до меня.

То, что она произнесла, не вполне сочеталось с весельем ее лица.

– Все царевны давно расстреляны, даже те, что отреклись, – заявила она, улыбаясь чуть ли не до ушей. – Вам, наверное, голову вскружила красота наших мест. А между тем здесь происходят необъяснимые убийства. За последний месяц – пять человек. Сначала убили Сигурдова, а Сигурдов кому мешал? Живой был субъект, пока был живой. Жирный, краснощекий, приставучий, шумный. Такие люди всех слегка раздражают, но, по сути, никому не мешают.

Затем Подъяченко. Незаметный, словно бы стертый ластиком, а тут его еще и убили! Зачем, спрашивается? И кто? Потом обнаружили Александрову. Ну да, Жанночку Александрову. Эта особа тоже всех раздражала, но не настолько же, чтобы убивать? Затем Симмонс. Буян, задира, согласна. Гневный клоун. И вот его нет, этого паяца. Ну а потом Игорь Ильин. Игорь был человек почти святой, на таких только самый отъявленный негодяй может руку поднять. Может быть, вы ненароком раскроете тайну этих убийств, мистер Шерлок Холмс?

– Я не Шерлок Холмс. Ненавижу преступления. Преступления и преступники скучны до тошноты. Детективный жанр являет собой нечто вроде театра психических заболеваний: шизофреник идет по следам психопата, и все это разворачивается на электрическом фоне паранойи.

– А вы, значит, образец психического здоровья?

– Не знаю, я не думал об этом. С чего это вы назвали меня Шерлоком Холмсом?

– Вы не представились, так что я могу называть вас как угодно.

– Меня зовут Кай Нильский.

– Какое разочарование! А я-то думала, что вас зовут Шерлок Холмс и вы тот самый редкостный экземпляр Холмса, что ненавидит преступления и расследования.

– Так и быть, ради ваших прекрасных глаз я разгадаю загадку этих пяти убийств, что так вас волнуют. Тот, кто убил их, видимо, сам нуждается в помощи или ищет спасения. Скорее всего, этот человек желал подать сигнал. Имена убитых – Сигурдов, Подъяченко, Александрова, Симмонс, Ильин. Первые буквы их имен складываются в слово СПАСИ. Это призыв, если я правильно понимаю.

Девушка встала и взглянула на меня сверху уже без улыбки.

– Слава Богу, к нам с неба упал проницательный господин. У нас тут все есть, одного только недоставало – проницательного господина. Загадка была простая. Убийства я выдумала, но люди реальны – все они живы, и, думаю, вам придется узнать их всех поближе. И вот что я вам скажу – они живы, но они крайне опасны. И лучше бы им умереть. Не думайте, что это просто-напросто пять оригиналов курорта. Увы, все не так лучезарно. Было бы неплохо, было бы просто чудесно, если бы кто-нибудь – например, вы, – убил их. Но вы не любите преступления. – Девушка усмехнулась и убежала, мгновенно исчезнув за деревьями.

Я проводил ее взглядом и даже как-то не успел удивиться этому неожиданному разговору – другое дело захватило меня: мокрым пальцем я рисовал на узкой полосе серого песка изощренного змея, свившегося множеством колец.

Что ж ты, змей, такой ползучий?

Это я на всякий случай.

Ходят по моей дороге

Люди, ангелы и боги.

Только завершив изображение змея, я позволил себе задуматься над словами незнакомой девушки.

Она упрекнула меня, что я не представился, и я назвал свое имя. Впрочем, вымышленное. Но ее имени так и не услышал в ответ.

Люди, чьи имена и краткие характеристики она мне внезапно сообщила, реальны, и с ними мне якобы предстоит познакомиться. Я сказал ей, что убийца этих пятерых хотел подать сигнал. Назовем это слабо зашифрованным посланием. Но затем в разговоре сразу же выяснилось, что убийства она выдумала. Значит, именно она стала убийцей этих людей – в сфере воображения или же в сфере лжи (а эти две сферы неотделимы друг от друга) она убила их. Значит, именно она прибегла к слабо зашифрованному посланию. И я сделался адресатом этого послания. Получается, ко мне обратились с призывом о спасении. Ведь если не было убийств

и их последовательности, значит, она сама расположила их фамилии в том порядке, чтобы начальные буквы их фамилий сложились в слово СПАСИ. Неужели она хотела, чтобы я спас ее от чего-то или от кого-то?

«Да... загадочная местность. Наверное, чрезмерно нежный климат сводит людей с ума», – подумалось мне.

Моя серая одежда уже не казалась мне уместной. На синем небе лежало солнце, похожее на сверкающий блин. И этот сверкающий блин пылал, как будто его только что испекла кухарка в раскаленной золотой печи. Мне захотелось убежать в тень, в спасительную тень парков, аллей и утомленных жарой вилл.

Мое лицо напоминает скорее о фараоне, нежели о конунге, хотя во мне и отсутствует та душевная стойкость, которую придает народам близость к Полюсу или к Экватору. Туманные очертания моего духа обеспечены наличием капли славянской крови, которая, по преданию, проистекает от князей Нильских, что в средневековой полутьме якобы охотились в Карпатах, используя вместо собак особенных белоснежных волков, на чьих шеях красовались опейники с гербами: дрозд, сжимающий в клюве кинжал, сидящий на острие золотой пирамиды. Немало скитался я по Руси, которая когда-то была святой, теперь же... даже не знаю.

Скитаться по святой или несвятой Руси без копейки денег и с иноземным паспортом в кармане – занятие рискованное, если не безумное, но оно, наверное, многому могло бы меня научить. Впрочем, я не извлек никаких уроков, и вскоре мой богатый и юный жизненный опыт вылетел из моей головы.

Мне хотелось начать свой рассказ с моей долгожданной встречи с морем, с тех восторженных взглядов, которые я бросал на его далекие длинные волны, начать с песка и хвои, с йода и соли, но сейчас позволю себе небольшое отступление от прибрежных территорий, чтобы перенестись в горную и холодную местность: роскошную, суровую, богатую соснами и белыми скалами.

Я сбежал из огромного города, о котором нынче уже не имеет смысла говорить, что он похож на ад. Неважно, похож ли он на ад или нет. Важно, что он является адом по своей сути. Я стал предателем этого ада, и мое святое предательство приняло форму поезда – зеленая гусеница, бегущая по сияющим рельсам, поволокла меня сквозь просторы страны, которая мне приходится не матерью, но возлюбленной. Здешние любят ее реки и овраги, как любят морщины на усталом материнском лице, я же люблю эту землю иной любовью: сквозь ее мрачные заброшенные элеваторы, похожие на готические замки, сквозь ее крикливых старух, сквозь ее жирных стражей, одетых в синие униформы, сквозь ее кривые тропы и черные леса проступает мне навстречу бледное личико девочки, швыряющей пригоршни земляники в тяжелые воды магического болотца.

Зачем и за что влюблен я в эту девочку Россию – сам не знаю. Может быть, за наивную песенку, звонко выпеваемую голоском лотосоподобной обитательницы детсада:

У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня, Россия, ты похожа очень.

Я ехал на встречу с морем, но должен признаться, что у меня имелось еще одно небольшое дело: порученьице, которое мне надлежало выполнить прежде, чем я смогу всецело отдаться лицезрению волн.

Поэтому, проведя сутки в поезде, следующем по маршруту из ада в рай, я вышел из него, когда до приморских селений оставалось не более двух часов пути. Я вышел на маленьком вокзале, затерянном среди гор. Мой поезд не заметил моего дезертирства и, расставшись со мной, сразу же уполз в старинный туннель, скудно освещенный редкими тюремными фонариками.

Он втянул туда все свои удушливые вагоны, как змей втягивает себя в расщелину скалы, но я не проводил его взглядом – мне не до того было, ведь я словно бы вывалился в открытый космос из нагретой продолговатой утробы, где множество эмбрионов, свежих и ветхих, пили крепкий чай, спали, курили сигареты в железных тамбурах, играли в карты и оцепенело смотрели в окна. Я резко выпал из их сообщества, из их теплой судьбы, и остался один под звездным небом, на пустынной станции среди таинственных горных хребтов.

Я полагал, не случается воздуха столь чистого и холодного. Грандиозный ледяной холод, пронизывающий до костей, царствовал здесь. Все это казалось мне сюрпризом, шуткой (из ряда магических приколов). Ведь я так долго ехал с Севера на Юг!

Трясаясь от холода в своей летней одежде, я вышел на маленькую привокзальную площадь.

Пустая площадь лежала под звездным небом, ровно освещенная темно-желтым светом, переходящим по краям в глубокую тьму. Площадь напоминала старинный портрет, где вдруг исчезло лицо старика, а осталось только одинокое черное такси, спящее в самом центре площади. Я наклонился к приоткрытому окну автомобиля и негромко произнес:

– Поселок Наук.

В автомобиле скрипнула кожаная куртка, воспряло смуглое спящее лицо. Словно вынырнувшее из гробницы личико Чингисхана. И вот мы уже неслись по извилистой дороге, осваиваясь в открытом космосе, где освоиться невозможно. Мертвый Чингисхан молчал за рулем, да я и не смог бы поддержать беседу, замороженный видом гор, – на их вершинах, словно крепости, торчали светлые скалы, тускло сияющие своей белизной между тьмой неба и тьмой земли.

Ехали мы недолго, и вскоре такси остановилось возле мозаичной стены, на которой было выложено пестрой смальтой: ПОСЕЛОК НАУК. Название выглядело величественно, но чья-то шаловливая и варварская рука двумя лихими мазками белой и черной краски переделала это название в ПОСЕЛОК ПАУК.

Шутка неизвестного вандала не вызвала у меня ни смеха, ни трепета: я расплатился с императором степей и крупными шагами направился к ближайшему домику коттеджного типа, приветливо мерцающему в ночи своей застекленной верандой.

Домик был крайним в ряду одинаковых коттеджей, построенных где-то в начале пятидесятых годов двадцатого века, – они стояли на равном расстоянии друг от друга, отделенные маленькими рощами высоких нездешних сосен. Каждый из домиков, несмотря на малый их размер, обладал колоннами, арками и портиками, – небольшие жилые храмы, созданные не для верующих, а для замкнутой жизни крошечных богов. Архитектура времен тирании парадоксальным образом дышит не ужасом, но уютом: здесь словно бы затеваются детские интриги сказочного покроя. Отчего в этих строениях, возведенных во времена массового террора и максимальной несвободы, дышится столь легко? Оттого, что нигде не живет так вольно, как в заброшенной тюрьме, где все тюремщики умерли, все решетки сорваны, где все двери выломаны, где все настезь, где все полно тихим тленом плена, становящимся полезным удобрением для диких трав и цветов привольной жизни.

Дисциплинированные империи дают как минимум один полезный урок: свобода живет лишь в тайне, лишь в незаметности, лишь под прикрытием. Если ее заметили, считай – ее уже нет. Под прикрытием задачи научного изучения космоса в этих регулярных сказочных домиках храмового типа долго и буйно произрастала тайная свобода отстегнутых умов, каждый из которых сам являлся космосом – столь же бездонным, сколь и звездное небо над нами.

Я думал о том, что здесь до сих пор проживают разрозненные астрономы, астрофизики или же их астральные тела: осенью здесь полно астр.

Я постучался в стекло веранды. Сразу же внутри кристаллизовалась сухонькая женщина с коротко остриженной седой головушкой.

– Здравствуйте, Елена Борисовна. Я к Нелли, – молвил я сквозь стекло.

Мне открыли.

Елена Борисовна (которую я видел впервые в жизни) проводила меня в теплую комнату, чьи белые стены пестрели живописными полотнами и рисунками в рамах. Словно бы я попал не в жилище астронома, где я ожидал увидеть люк в потолке, телескоп, льва и сушеного крокодила, а в дом художника или же коллекционера живописи.

Елена Борисовна постоянно что-то говорила ровным, быстрым, шелестящим голосом. В основном, она шелестела о каких-то автомобилях, об их свойствах, деталях и нраве. Особенно часто слышалось в ее речи свистящее слово «ниссан». Возможно, она отчего-то решила, что я прибыл в эти края на собственном автотранспорте и что это непременно должен быть «ниссан».

Я не возражал против полусна, в которое меня погружали тепло и праздничность комнаты, яркое освещение, картины на стенах, ледяной космос за этими стенами, стрекот седой женщины и тот длинный диванный овражек, куда я завалился, словно колобок в лисье брюхо. Под мерное жужжанье ее речевого веретена я то и дело засыпал, и снилось мне урывками, что я лежу, запеленутый в татарскую кошму, под звездами, среди скал, и хотя мое сердце сновидца переполняла спокойная радость, но слово «кошма» все же намекало о том, что этот сон – кошмар. Счастливый кошмар, если такое возможно. Еще как возможно! Они возможны и они вельможны, эти счастливые кошмары. Затем мне приснился спящий восточный воин, а рядом с ним женщина с закрытым лицом острила ятаган, готовя спящего к битве.

– А где же Нелли? – прервал я вопросом и жужжанье Елены Борисовны, и свои сны.

– Желаете видеть Нелли? – раздался вдруг в комнате незнакомый, капризный, взбалмошный и крайне веселый голос. – Так вот она я!

Про эту Нелли Орлову я только и знал, что ее имя, да еще что она работает в Обсерватории, изучая небесные светила. Я воображал себе строгую женщину средне-молодых лет, стройную, с античным личиком, в маленьких очках и с отблеском звезд за изогнутыми стеклами этих очков.

Присматриваясь к орехоподобному лицу Елены Борисовны (которой на вид можно было дать лет шестьдесят), я гадал, кем ей приходится Нелли – дочерью, внучкой, младшей сестрой? Но достаточно было увидеть Нелли воочию, чтобы понять – они не родственницы. Нелли Орлова оказалась дамой, перевалившей, должно быть, за восемьдесят, крайне живой, слегка полной, в широких абрикосовых штанах и без очков, хотя звездный свет и вправду обильно скопился в глубине ее мерцающих глазенок.

Стоило ей явиться, как Елена Борисовна замолчала и более не вымолвила ни слова, хотя и не покидала комнаты в течение всего моего визита. Теперь говорила Нелли Орлова. Сразу же стало ясно, кто здесь царица, а кто ее ловчая птица.

– Купаться едете? – звенела Нелли в мой адрес. – Небольшая остановка в горах, но вы-то знаете, что вас ждет побережье, а там тьма укромных мест, где можно ополоснуться нагишом. Я всегда купаюсь голая, трусы душат меня! – И она разразилась бубенчато-кудахчущим смехом.

Я извлек из рюкзака нечто, завернутое в мягкую ткань. Развернув ткань, я достал небольшую шкатулку светлого дерева и поставил ее на стол.

– Вот это просил Вам передать мой отчим, – сказал я. – Вообще-то я никогда не исполняю ничьих поручений, но теперь я собрался надолго покинуть столицу, и, в качестве прощального реверанса, я согласился исполнить его просьбу и завезти вам эту вещь, раз уж мне все равно предстояло проезжать мимо ваших горных урочищ.

Нелли на шкатулку даже не взглянула, хотя я догадывался, что она с трепетом ее ждала. Нечто подсказывало мне, что появление этой вещицы не просто много значит для нее. С прибытием шкатулки нечто должно измениться в ее жизни.

А жизнь эта, вероятно, давно уже текла без изменений, размеренно и бодро струясь между любимым космосом и любимыми абстрактными полотнами в простых рамах. Но Нелли была светской дамой старой формации, она ничем не выдавала своего волнения, а, напротив, продолжала любезно и даже кокетливо болтать:

– Урочища полны чудовищами, вроде нас с Леночкой. Но, знаете ли, от горных духов в урочищах можно получить такой урочище, который потом всю оставшуюся жизнь будет пригождаться и пригождаться. Туманные странники радуют нас уже абстрактно, но я к абстракциям, как видите, неровно дышу. – Она указала на картины. – Рассматривайте, рассматривайте! Там можно найти прелестные девичьи фигурки, спрятанные в складках между треугольниками и квадратами. Подобным образом русалки прячутся меж скал на южном берегу. Много чудесных художников здесь наследило, но что вам за дело до этого? Вы скоро окажетесь в компании прибрежных русалок. Только, знаете ли, русалки бывают не только морские, речные и озерные. Есть еще космические русалки – безводные, безвоздушные. Но об этом – тссс и никаких шу-шу-шу! – Она лукаво приложила палец к бледным сморщенным устам.

Из вежливости я принялся разглядывать полотна. Да, действительно, немало художников тут наследило. Самые различные живописцы, но всех объединял жирный мазок и любовь к изображениям гофрированных лент, треугольных флагов, кипарисов и геометрических фигур. Все что угодно теснилось в просветах между этими фигурами, только вот прелестных русалок я там не нашел. Зато мое внимание привлекла одна небольшая картина: автор написал старинную виллу в можжевелевой роще.

За моей спиной Нелли продолжала кудахтать, и сквозь ее речь водопадом струились молодежные глаголы: отжигать, зажигать, тусовать... Но чувствовалось, что мысли этой светской космической русалки заняты чем-то весьма далеким от зажигосов, отвисонов и тусычей.

Под завесой прозрачной и курчавой болтовни эта восьмидесятилетняя дама казалась очень собранной и готовой к каким-то неведомым и решительным действиям, о которых мне, скорее всего, никогда не станет известно. Она походила на Джеймса Бонда, вздумавшего притвориться тусовщиком и распиздяем.

– Скажите, Нелли, а где находится эта прекрасная вилла, изображенная на этой картине? – спросил я, обернувшись к разговорчивой хозяйке.

Лицо астрономши на миг утратило свою уверенную светскость и светоносность. Звездочки ее глаз мигнули и померкли, все овраги ее лица подернулись словно бы пушистым туманцем. Она смотрела куда-то вниз и вбок, равнодушно и вяло водя старческим пальцем по лакированной крышке шкатулки, которую я сюда доставил. Повисла пауза, когда звучала только струйка чая – тощая Елена Борисовна зависла над чашками, наклонивши над ними пузатый бликующий чайник.

Астрономша Нелли продолжала оцепенело тереть подушечкой пальца крышку шкатулки – дешевая, кстати, на вид шкатулочка, не сказать чтоб старинная, из простенькой светлой древесины, облитая желтым лаком, с неумело выжженной на крышке татарской кибиткой.

Наконец оцепенение схлынуло, и Нелли запоздало удостоила меня ответом, назвав имя того самого курорта, куда я направлялся.

– Прекрасное совпадение! – воскликнул я. – Ведь я как раз туда и еду. Значит, смогу увидеть эту виллу воочию, а она, судя по рисунку, волшебна.

– Волшебная... еще бы... конечно, волшебная! – подхватила Нелли, блестя своими вновь лучащимися глазенками. – Только вот... я там давно не бывала... Возможно, этой виллы уже и нет. Сейчас ведь все разрушают, все сносят, строят новое – луковое, чесночное, гнилое новое.

Иной раз такой отель возведут – красота, да и только. Zalюбуешься, залюбуешься, а после и сблеванешь ненароком.

Я заночевал в одной из комнаток этого дома, любезно предоставленной мне для ночлега. А на следующее утро продолжил свой путь к морю.

У меня появилась еще одна причина стремиться туда, куда я стремился. Теперь я желал видеть не только море. Я также мечтал увидеть старинную виллу в можжевелевой роще. Я думал – вдруг у меня получится снять комнату на этой вилле – небольшую, с удлиненным окном. И там, в этой комнате, я останусь на месяц, на два месяца, на три месяца. Перестану замечать, как текут дни, законсервируюсь в можжевелевой реторте. И смесь двух запахов – морского и можжевелевого – поможет мне написать задуманный мною роман. Роман на море. Если прочитать это словосочетание наоборот, то получится «ероман на мор». Может, так его и назову? Как если бы я писал на некоем несуществующем славянском языке?

Вообще-то я задумал роман о детстве.

О детстве? О моем, что ли, детстве? О детстве человека, блуждающего по соленым приморским краям под вымышленным именем Кай Нильский?

Или же о детстве некоего Пепперштейна? Или о детстве некоего Паши Пивоварова? Или о детских годах некоего Петра Петербурга? Или о детстве школьника Карла?

Или о детстве мальчиков-эдельвейсов и девочек-люверс? Или о так называемом позднесоветском детстве? Или же о детстве вообще, о феномене детства? Или же о некоем существе среднего рода по имени Детство? Куда, кстати, ушло оно? К ребятам по соседству, где каждый день кино? Да никуда оно не ушло. У нас и сейчас кино. Некоторые фильмы мы вам даже покажем – из числа тех, которые принято смотреть с закрытыми глазами.

Детство Никиты? Детские годы Багрова-внука? Детство, отрочество, юность? Мои университеты? Детство Марселя? От двух до пяти? Серебряный герб? Серебряные коньки? Серебряное копытце? Оливер Твист? Когда деревья были большими? Когда ботинки были гигантскими? Дэвид Копперфильд? Джейн Эйр? Портрет художника в юности? Другие берега? Письма Деда Мороза? Питер Пэн? Мемуары Муми-сына? Зачарованная зима? Дочь скульптора? Сквозь зеркало и что там увидела Лолита? Мальчики из-под ковра? Девочки из-за шкафа? Мэри Поппинс возвращается? Спортивные состязания в закрытой школе Хогвартс? В сторону Свана? Мальчик-с-пальчик? Девочка со спичками? Стойкий оловянный солдатик? Тимур и его команда? Кондуит и Швамбрания? Республика ШКИД? Девочка, которой никогда не было? Повесть о премудром младенце? Дневник эмбриона? Страшные тени счастливого детства? Повесть о рыжей девочке? Сонины проказы? Винни Пух и все-все-все? Мурзилка? Колобок? Курочка Ряба? Крошечка-Хаврошечка? Зигота? След хатифнатта? Детство Вселенной? Краткая история времени? У истоков всего? Книга за книгой? Дом с волшебными окнами? Школьное окно? Палле один на свете? Шум и ярость? Человек, идущий вслед за солнцем? Маленькие огоньки? Милое дитя? Piccoli giganti? Прозрачные ребята? Бибигон? Записки осторожного бейби? Спиногрызы, короеды, шкурки? История дождевой капли? Около молока?

Глава вторая Около молока

На утреннике у одного из танцующих спросили: «Что было до твоего рождения?» Тот перестал танцевать, снял с лица серпантин, подумал и ответил: «Серая пустота. Ни вещей, ни теней, ни верха, ни низа. Только ровный свет без источника – мягкий, мутный, подернутый легким туманом. Дымка. И среди этой бескрайней серой пустоты иногда раздавался голос, непонятно откуда доносящийся. Он произносил одно только слово: "Родина". Больше не было ничего».

Протягивая ей мороженое-эскимо, спросили у нее: «Что было, родная, до твоего рождения?» Она слизнула немного мороженого, подумала и сказала: «Серая, светлая пустота. Только ровный и пушистый свет без источника. И в глубине света, за легким туманом, вроде бы простой белый поток. За несколько секунд до моего рождения какой-то голос произнес: "Ленин". Всё. Больше не было ничего».

Серая, светлая пустота, не имеющая ни границ, ни пределов. Бездонная, бескрайняя, бесконечно простирающаяся вверх и вниз, вперед и назад, во все стороны. В этой пустоте подвешена коробочка размером с обычную комнату. Стены, пол и потолок сделаны из тонкой белой бумаги. Непонятно, каким образом все, что находится в комнате, не проваливается сквозь пол. Видимо, бумага все же очень плотная. В комнате люди и вещи. Видно, семья отдыхает. Человек лет восьмидесяти сидит на диване с книгой и читает вслух роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Женщина лет семидесяти пяти, закутавшись в серую пуховую шаль, вяжет, посматривая иногда сквозь стекла очков на экранчик небольшого черно-белого телевизора, – там две стройные фигурки девушки и юноши (обоим лет по пятнадцать) кружатся на коньках, выписывая замысловатые фигуры на льду. Мужчина лет сорока трех внимательно следит за их танцем, одновременно неторопливо прочищая свою курительную трубку. Женщина лет тридцати пяти кормит грудью пятимесячного младенца. Юноша лет семнадцати стоит на пороге двери, повернувшись спиной к семье, с недовольным и хмурым лицом глядя в серую, светлую пустоту. Девушка лет четырнадцати в полупрозрачной ночной рубашке лежит на кровати и, улыбаясь, смотрит в потолок. Девочка лет девяти сидит за столом и делает уроки. Мальчик лет четырех, одетый в желтую пижаму, катает по полу игрушечный поезд.

На ферме приходилось вставать рано, чтобы идти доить. Когда шли с ведерками, у всех слипались глаза. Тут одного из сонных спрашивают: «Что будет после твоей смерти?» Тот подумал и ответил: «Серая, светлая пустота, бесконечно простирающаяся во все стороны. И где-то в этой пустоте висит бумажная комнатка. В комнатке все занимаются своими делами: дед читает, бабушка вяжет, папа смотрит телевизор, мама кормит младшего, сестры и братья – каждый занимается своим. И только время от времени они оглядывают комнату и друг друга в поисках меня. Вроде все в сборе, а я-то где? Куда я-то подевался?»

Есть повествования, на вид безобидные и развлекательные; на самом же деле в них скрыта бездна. Но не «бездна смысла» или «бездна бессмыслицы». Какая-то другая бездна. Другая бездна.

Таким повествованием является роман Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». Возможно, этот роман – откровение, приоткрывающее перед нами тайну нашей посмертной судьбы. Во всяком случае, тайну первого периода после смерти – тайну сорокаднева,

или мытарств души. Можно сказать, Жюлю Верну удалось создать собственную версию «Книги мертвых».

Фогг («Анимус», имеющий форму туманного сгустка) совершает путь вокруг земного шара. Путь занимает восемьдесят дней. В пути он обретает свою женскую ипостась («Анима», леди из Индии). Если поделить восемьдесят дней пополам (по половине на «Аниму» и «Анимуса»), то получим два сорокаднева. В пути им пытаются помешать мистер Фикс – нечто вроде клея, угрожающего приостановить движение душ, «зафиксировать» их. Помогает же им в деле непрерывности движения слуга Паспарту, то есть паспорт, бюрократическая оформленность умерших, дающая право на пересечение границ, на путь.

Только удостоверившись на собственном опыте, что Земля – шар, мы можем считать земную жизнь завершенной. Мы ведь собираемся подарить этому шару свое тело, влиться в шар. Тело Земли есть и наше тело, и, прощаясь с ним, мы обязаны освидетельствовать его целиком. Этим объясняется современный расцвет туризма. Туризм – самое предусмотрительное из всех занятий, поскольку именно опытный турист в наибольшей степени может считаться подготовленным к посмертным испытаниям.

...Где Ио белоснежная паслась...

Девушки, подоившие Ио, спрашивали друг друга: «Мы пьем молоко женщины или белой коровы?»

Дали немного молока и одному юноше. Вместо того чтобы пить, он опустил в чашку с молоком свой член и стал кричать: «Мне кажется, что я совокупляюсь с девушкой!»

– Вот дурак! – смеялись девчата.

В летнем детском саду заставляли пить молоко. Вкус молока все ненавидели (на вид-то оно приятное).

Как-то раз воспитательница застучала одного мальчика, который в компании девочек опускал в молоко свой половой орган и выкрикивал известную считалку:

Шла машина темным лесом
За каким-то интересом...

– Вот дурак! – хохотали девочки, с удовольствием наблюдая за его действиями.

Одного спросили: «Есть ли у истины имена?» Разговор происходил в поезде. Тот посмотрел на надпись «стоп-кран» и ответил: «Есть. Эти имена: творог, сметана, ряженка, кефир, сливочное масло, сыр».

Что такое «я», когда это слово написано на бумаге? Читая дневники преступников, убеждаешься, что чем тяжелее вина, тем большей невинностью дышат записи. И дело не в злостных уловках самооправдания – написанное «я» чисто. «Я» – это нечто, на что уже накинут покров невинности. Сама плоть текста трансформирует это «я» и доносит его до нас детским и нежным, как сказал бы писатель, «с широко раскрытыми, доверчивыми и изумленными глазами ребенка, глядящими куда-то вверх из-за сильного плеча матери». Материи текста не просто чисты – они обладают очищающими свойствами. Таким образом, кровь смывается с вампирических уст, на которых остается (для «живости») только теплый след материнского молока.

Особенно это относится к русскому «я» – этому пузанчику с отставленной вбок извивающейся ножкой, словно бы подбрасывающей невидимый мяч. «Я» так похоже на малыша, которого недавно хорошо покормили и теперь выпустили погулять во двор.

Один пятилетний, сытно позавтракав горячим молоком с кукурузными хлопьями, вышел во двор и стал подкидывать ногою мяч. К нему подошли трое ровесников и спрашивают: «Ты знаешь, откуда дети берутся?» А тот в ответ: «Идите лучше на Замореного. В нашем дворе вы таких дураков не найдете, чтобы на такую хуйню попались».

В детском саду активно обсуждался вопрос, откуда берутся дети.

Высказывались разные версии. Говорили, что женщины беременеют от еды. Что мужчины и женщины, голые, запрыгивают друг другу на спину и возят друг друга по комнатам. Что мужчины и женщины трутся друг о друга гениталиями. Наконец, говорили, что мужчина якобы засовывает свой половой орган внутрь полового органа женщины, там из него выбрызгивается некая жидкость, столь питательная, что от ее присутствия в женском теле зарождается живое существо. Все эти версии казались в одинаковой степени недостоверными.

Как-то обратились к одному молчаливому узнать, что он думает по этому поводу. Он ответил приблизительно следующее: «Нас-то не должно занимать, откуда берутся дети. Мы ведь *уже родились*. Вот если бы мы были еще не рожденными детьми – тогда другое дело. Но поскольку мы уже родились, нам следует внести ясность в другой вопрос: что будет с нами после нашей смерти». Только спустя много лет он догадался, что эти два вопроса тесно связаны друг с другом. Все молчаливые мыслят неторопливо.

Пока тело небольшое, лучше всего собирать коллекции. Собирать ключи, ордена, открытки, монеты, почтовые марки, бутылки. Или вырезки из детских книжек с изображениями земляного грунта в разрезе, так что видны туннели, ходы и интерьеры нор и норок. Норки обставлены шкафчиками, диванами, освещены лампами в уютных оранжевых абажурах. Видно, как лиса спит в кровати, подложив собственный хвост под голову и заговорщицки ухмыляясь. Медведи лежат в снежной утробе, в синем освещении, накрывшись многослойными перинами. Спит заяц, сняв свои дряхлые белые валенки и положив очки на тумбочку. Квартиры есть не только под землей. В дуплах расположились совы и белки со своими книгами, рецептами, ковровыми дорожками и креслами. Вот мышь в красном переднике собирается покормить своих мышат: они сидят за столом, а она вносит на подносе крупные чашки – красные в белый горошек. В чашках что-то белое, дымящееся. Наверное, это горячее молоко, которое полагается пить перед сном.

По весне-то спится сладко в крепдешиновом пенсне
И во сне поет лошадка на сосне.
Даже если кто-то скажет: «Котик! Микрогород!»,
Он потом тебе расскажет, что за Овощ там нас ждет.

Аллегория милосердия – молодая женщина, кормящая грудью старика. Образ античного происхождения. Тюремное окошко, забранное решеткой, напоминает о подобных окошках в католических кабинках для исповеди. Сквозь решеточку Уста поверяют свои тайны Уху. Сквозь решеточку Уста приникают к Соску. Уста старика приникают к соску дочери. Таким образом, старик становится на место своего внука. Милосердие – это реверс, обратный ход, возвращение, повтор. Своими сморщенными губами старик нажимает на розовую кнопку, предназначенную для губ младенца, для губ любовника. И все исчезает, для того чтобы через секунду возникнуть вновь – точно таким, каким было несколько мгновений тому назад.

Так называемое бессознательное – это всего-навсего множество ворчливо-вежливых, маразматически-шутливых голосков. Они, как комариные облака, плывут и вертятся над обширным одиноким болотом, которым является человек. Если прислушаться к их «раз-

говорам», то можно заметить, что они все время что-то куда-то пристраивают с поразительной заботливостью. Верно, у них действительно целое «хозяйство» находится под присмотром.

Вот это домик для головы, для головушки конурка, извольте видеть. Такая бревенчатая, теплая. Хорошее, сухое бревно тепло сохраняет лучше всякой печки.

Это для ног избушка: ногам нужен и уют, и свежий воздух.

А здесь у нас ручонка будет жить, такой загончик для нее обустроен, как в зоопарке почти. Тут и забор, и воротца есть, и фонари...

А вот плечо у нас в таком вот вигваме размещается или в юрте – даже не знаем, как лучше сказать...

Локоть-локоток... Он в ангарчике таком, ну что-то вроде депо...

Два человека по очереди ныряют в огромный чан с кипящим молоком. Первый выныривает преображенным – он приобрел вечную молодость, красоту и крепкое здоровье. Второй вообще не выныривает – он исчезает в молоке, «сваривается»: «Прыгнул в чан и вмиг сварился...» Так это описывается в «Коньке-Горбунке» и в других сказках. Молоко, питание для младенцев, используется здесь как средство омоложения и как средство казни.

«Молодость» происходит от слова «мало». «Молодость» означает «мало даст», поскольку молодость паразитарна, она берет, и берет много; дает же взамен мало. Вынырнувшему молоку дает молодость, но дает мало – в виде отблеска, сияющего на его лице и теле, пусть вечного, но все же лишь отблеска. Это происходит просто потому, что молоко само молодо и может давать только мало. Если же оно вдруг «дает много», то уже не выпускает из себя – человек возвращается навсегда в свое «кипящее начало».

Зиккурат! Зиккурат!
Аккуратный зиккурат!

Оргию решено было устроить в здании бывшей школы – стандартное здание: два одинаковых блока, соединенные стеклянным коридором. На втором этаже второго блока имелись два больших зала с огромными окнами: бывший актовый зал и бывший зал для занятий физкультурой. Залы сохранились, в общем, в хорошем состоянии, но все же кое-где проступали следы обветшания. В актовом зале, в углу, валялся золотой пионерский горн, за дощатой сценой стоял стыдливо сдвинутый туда белый бюст Ленина. В физкультурном зале, как и во всех физкультурных залах, лежали сложенные большими стопками кожаные маты, пылились шведские стенки и другие гимнастические тренажеры. Стоял сентябрь, в залы внесли множество старинных медных тазов, начищенных до блеска и наполненных различными сортами яблок – в тот год выдался отличный яблочный урожай. Что же касается цветов, то в их отношении проявили некоторую сдержанность – ограничились огромными букетами белых хризантем и астр. Актовый зал украсили знаменами, самыми разными, – виднелись и советские парадные из красного бархата, и императорские штандарты, расшитые золотой нитью, и российские шелковые, с золотыми кистями, и отмененные флаги бывших республик СССР и социалистических стран Европы и Азии, а также новые флаги этих государств.

Присутствовали и вовсе ветхие флаги – например, копии знамен и штандартов Наполеона. Бюст Ленина, скромно выглядывающий сбоку из-за занавеса, полностью увили орхидеями. Стены актового зала затянули красным бархатом, кое-где стояли большие живописные

полотна – именно стояли, а не висели: как будто их только что закончили. Это и в самом деле было так, они даже источали запах масляной краски и скипидара. На одном из полотен разляписто написан король экзотического острова – толстый мулат в камзоле восемнадцатого века, простирающий руку над порослью крошечных манговых деревьев. За его спиной застенчиво улыбались восемь его дочерей. На другом полотне живописец изобразил хоккейного вратаря, облаченного в свои тяжеловесные доспехи. Третья картина была портретом девочки-фигуристки на коньках, в коротком платье, которая с испуганным и почтительным лицом склонялась над божьей коровкой, сидящей на кончике ее пальца. На льду лезвиями коньков начертано:

Улети на небо, принеси мне хлеба
Черного и белого, только не горелого.

Физкультурный зал оставили совершенно белым, пустым, без каких-либо украшений. Шведские стенки, тренажеры и маты – все осталось на своих местах. Здесь устроители ничего не прибавили от себя. Кроме простого дачного раскошевшегося деревянного столика в углу, на котором стоял большой медный самовар с чаем. Там же горкой возвышались чашки для чаепития – все специально подобранные немного попорченными, с коричневыми трещинками, пересекающими иной раз синеватый цветок на фарфоровом боку чашки. Здесь же находилось серебряное блюдо с лимонами и хрустальная сахарница, наполненная кусковым сахаром. Под столиком десять железных ведер с холодной водой из святого источника. Не было алкоголя, никаких табачных изделий, а также наркотиков, – все участники оргии обязались оставаться трезвыми, чтобы не повредить эффекту оргиастической свежести.

Что касается музыки, то негромкая китайская музыка доносилась из-за белого шелкового занавеса, прикрывавшего вход в бывшую раздевалку. Эта музыка, в общем-то, ничем не отличалась от тех обычных неторопливых мелодий, которые звучат в китайских ресторанах.

В школьном вестибюле в рамках развесили совершенно свежие медицинские свидетельства, удостоверяющие полное здоровье всех участников оргии, чтобы мысли о передающихся болезнях не внесли привкус мнительной горечи в сладость совокуплений.

Оргия началась в восемь часов утра. Огромные окна открыли настужь, и солнце заливало оба зала, вспыхивая слепящими пятнами в золотых тазах, вазах, горнах. Оргия всем понравилась. Некоторое время спустя хотели было устроить еще одну, такую же. Но одна из девушек уехала с родителями за границу, и устроители сочли кощунством приглашать вместо нее другую.

Отчасти опасаясь ревности своей жены Геи (которую мы, в соответствии с коперникианскими представлениями, можем вообразить себе шарообразной), отчасти усыпляя девическую бдительность своих возлюбленных, Зевс совокуплялся с нимфами и человеческими девушками в различных обликах, часто неантропоморфных. В результате этих священных соблазнений и полуизнасилований нередко рождались локальные божества, бессмертные, монстры и непостижимые существа, которых неизвестно даже к какой категории можно отнести.

Он совокуплялся:

В облике облака.
В облике мраморной колонны.
В облике быка.
В виде дождя.
В облике дачного домика.

В виде овала.
В виде мешка с подарками.
В виде круга.
В виде тропинки.
В виде квадрата.
В виде шубы.
В виде треугольника.
В виде волчьей ягоды.
В виде куба.
В облике развевающегося знамени.
В виде реки.
В облике мёда.
В облике мраморной ванны, наполненной молоком.
В виде числа 87.

Уступчивость, рассеянность, отсутствие бдительности (по отношению к вещам и животным) обеспечили соблазненным девушкам и нимфам бессмертие и вхождение в Пантеон.

Героиня эротического романа «Эммануэль» по профессии математик. Хотя автор романа Эммануэль Арсан упоминает об этом вскользь, это обстоятельство все же накладывает нестираемый отпечаток на все похождения девушки Эммануэль. Ее бесчисленные совокупления тщательно сосчитаны. Это повествование можно бы считать порнографическим, если бы оно не было насквозь пронизано одной лишь страстью – страстью к абстрагированию. Схема – вот что с древних времен возбуждает более всего.

Имя девушки – Эммануэль. Иммануил – пренатальное имя Бога. Оно означает «с нами Бог». «Бог *уже* с нами», потому что он *уже воплощен*, он уже среди нас. Но «Бог еще не совсем с нами», потому что он еще не родился, находится в материнской утробе. Роман «Эммануэль» заканчивается следующей сценой.

Проведя ночь со своей любовницей Анной-Марией, Эммануэль идет к морю, оставив девушку спящей. В море она встречает трех мужчин-близнецов, похожих друг на друга, как три грани равностороннего треугольника. Эммануэль совокупляется с ними одновременно, как бы вписывая себя в этот треугольник. Затем, удерживая сперму одного из них во рту, она возвращается в комнату, где спит Анна-Мария. Опустившись на колени, Эммануэль вдвухает сперму во влагалище Анны-Марии, чтобы оплодотворить ее. Она зачинает саму себя.

Так возникают дети.

Глава третья

Double childhood

Мое счастливое детство брежневских времен протекало в имперской и вальяжной Москве (впрочем, имперскость и вальяжность следует понимать в свете умеренной социалистической аскезы), в расхристанном дачном Подмосковье и, конечно же, в Коктебеле, в благословенной бухте, где гнезился божественный Дом творчества писателей, в просторечии «писдом». Я принадлежал к той части невзрослого населения, которая обозначалась словом «деписы», то есть дети писателей. «Деписы» разделялись на «сыписов» и «дописов» (сыновья писателей и дочери писателей). Почему-то меня никогда не называли «сыхудом», хотя я также являюсь сыном художника. Будучи сыписом, я обожал дописов и увлеченно дружил с ними, выбирая наиболее мечтательных девочек, для которых я мог выдумывать новые игры, а также рассказывать им увлекательные истории с продолжением, то есть многосерийные повествовательные саги, в которых животные превращались в пиратов, маги становились сияющими колобками, а некий барон Ангельштайн, обладающий гигантскими крыльями, успешно расследовал преступления.

Я нередко говорил о том, что мое детство было двойным (или удвоенным) – double childhood, изъясняясь по-английски. Мои родители (а также круг их друзей) были профессионально вовлечены в создание не только лишь моего, но и всеобщего советского детства – мама писала детские стихи и прозу для школьниц, папа иллюстрировал детские сказки, создавая для советских детей сладостные образы галлюцинаторной Европы, давно ушедшей в мифическое прошлое (Андерсен, «Скандинавские сказки» и прочие шедевры).

Одно из моих ранних воспоминаний отражает эту раздвоенность на зримо-психоделическом уровне. Я сижу перед телевизором рядом с мамой, а в телевизоре мама читает свои стихи. Если память меня не обманывает, и в телевизоре, и в реальности на ней в тот момент была блузка в мелкий цветочек. Впрочем, на сохранившейся фотографии, сделанной с овального экрана советского черно-белого телевизора, блузка в цветочек не видна. Зато виден другой орнамент, на занавеске за спиной у мамы – модернистский узор, характерный для шестидесятых годов.

Помню, я испытал глубочайшее недоумение. Мое младенческое сознание не могло смириться с явленной мне тайной: мама рядом со мной, смеется, сидя на маленьком складном стуле. И в то же время мама читает стихи в странной линзе, сквозь которую виден иной, черно-белый мир. С тех пор я люблю черно-белые фильмы и черно-белые фотографии, хотя черно-белые сновидения меня никогда не посещали.

Что касается сновидений, то после описанного переживания мне часто снились ситуации, в которых мои родители раздваивались. Я видел папу и маму, сидящих на разноцветном диване, и в то же время они вырастали из-за батареи центрального отопления, касаясь головами белоснежного потолка.

Глава четвертая

Стремление к синему домику

Вот одно раннее воспоминание. Мне было года четыре или пять, мы жили в чудесном доме творчества на озере Сенеж. Дом творчества принадлежал Союзу художников¹ и располагал множеством блаженств, начиная от гигантских литографических и офортных мастерских и заканчивая пушистыми собаками, кошками и даже лошадьми, которым мне нравилось преподносить сахарные кубы на протянутой ладони. Мягкие лошадиные губы касались моей руки, а крупные зубы разгрызали сахар одним плавным движением, напоминающим взмах длинной юбки, которую испанка или цыганка взметаает окрест себя дрожью своего бедра. Зимой лошадей запрягали в сани, и тогда разверзался мир изначального русского кайфа: поездки сквозь лес, с бубенцами. Гладкий надснежный полет, утепленный мехами и фырканьем конских ноздрей. Миновав лес, мы выкатывались в раздольное чистое поле, где на горизонте виднелась классическая деревенька: домики разных цветов, а из печных труб поднимались в ясные дни светлые дымы, передающие привет синему небу. Отчего-то наши сани никогда не приближались к этой деревеньке, мы ехали всегда краем поля, и я наблюдал это пленительное селение в отдалении, за обширной и ослепительно сверкающей белизной. Там облюбовал я взглядом один синий домик – ортодоксальную избушку с палисадом и наличниками. То ли оттого, что цвет этого домика совпал с цветом неба, императорствующего над ландшафтом, то ли над этой избушкой поднимался особенно затейливый дымок – короче, не знаю по каким причинам, но мне страстно захотелось приблизиться к этому синему домику, войти в него. И вот как-то раз я, никому ничего не сказав, отправился в путь к этому синему домику. Один, без взрослых, без иных детей, без саней и лошадей. Я прошел сквозь лес, пересек белоснежное поле и постучал в дверь синего домика. Мне казалось, там меня ожидает нечто волшебное. И ожидания меня не обманули. В домике обнаружили какие-то совершенно прекрасные обитатели – увы, не помню их лиц. Не могу вспомнить, кто меня там встретил. Помню только, что эти люди оказались божественно добры и приветливы. Может быть, сказочные дед с бабой или какая-то чудесная женщина с ее детьми? Мне так жаль, что я не могу вспомнить этих волшебных людей, зато помню невероятный запах выпекающихся в печи пирожков с яблоками. Этот аромат объел меня целиком, стоило мне переступить избушечный порог. Я явился к моменту поспевания пирожков. Меня напоили сладким чаем с горячими пирожками, после чего я сразу уснул, утомленный своим одиноким броском сквозь снега. Уснул в райском уюте этой избушки. Проснувшись, я увидел своих родителей, пришедших за мной. Обитатели домика, увидев меня спящим, сходили куда-то, где был телефон, позвонили в дом творчества и сказали, что я у них. Потом мы еще пару раз заходили к этим людям, уже с родителями, и каждый раз там было так же зачарованно и невероятно. И пирожки были тут как тут. Если бы я писал книгу для детей, я написал бы, что в этом домике жили пирожки. Приходишь к ним в гости, съедаешь их, а они

¹ Дома творчества (писателей, художников, композиторов, актеров и прочее) возникли в СССР на заре тридцатых годов и явились следствием создания централизованной системы творческих союзов, олицетворяющих собой советскую практику управления культурой. Предполагалось, что представители творческих профессий, в отличие от прочих трудящихся, стремятся сочетать работу и отдых. В любом случае эти блаженные заведения являли собой «кормящую», «заботливую», «материнскую» сторону управления культурой. Читателю может показаться забавным, что эти дома творчества вызывают в моей душе столь же трепетные и восторженные чувства, какие вызывали дворянские и аристократические усадьбы в сердцах Аксакова, Набокова или кн. Феликса Юсупова, – чувства, щедро выплеснувшиеся на страницы их сублимированных воспоминаний. Забавно, но так оно и есть. Возможно, дома творчества вызывают даже более нежные чувства – все же статус хозяина или же хозяйского отпрыска есть разновидность бремени (пусть сладкого, но бремени), а у социалистических домов творчества не было хозяев, кроме абстрактного (в глазах ребенка) государства и не менее абстрактных (в тех же глазах) союзов творческих работников. – *Здесь и далее прим. автора.*

потом снова откуда-то появляются. Вот такая вот райская пряничная избушка – без облома, без обмана, без ведьм и колдунов.

Глава пятая

Весы

Году, наверное, в 2009-м мне позвонили из какого-то московского журнала и сказали, что вот, мол, готовят номер, посвященный чудесам, и не могу ли я в связи с этим с ходу рассказать им по телефону какую-нибудь историю из своей жизни. То есть вспомнить какую-то ситуацию, которую я сам склонен считать чудом. Поначалу я замялся, начал лепетать что-то о том, что чудеса всегда сыпались на меня в избытке и мне трудно выбрать что-либо в этом потоке, но затем в голове моей словно молния сверкнула, высветив одно раннее воспоминание.

Не скажу точно, сколько лет мне было, наверное, около девяти, когда я решил обратиться к Богу с одной просьбой. В тот вечер взрослые много говорили о молитве. Наслушавшись этих разговоров, я, лежа в своей детской кровати, перед засыпанием решил тоже помолиться и кое-что попросить. Это было моление о весах.

В детстве я часто болел. Соответственно, являлся постоянным посетителем детской поликлиники, где происходили различные терапевтические процедуры – вспоминаются кварцевые прогревания (достаточно приятная, кстати, штука). Ну и каждый раз, когда я там бывал, происходило ритуальное взвешивание меня на больших весах, специально предназначенных для взвешивания детей.

Я был ребенком высоким и длинным, но до тринадцати лет очень тощим и весил меньше, чем следовало, но это меня не волновало. Почему-то я влюбился в эти весы, они казались мне умопомрачительно прекрасными! Нечто таинственное, нечто совершенно обворожительное чудилось мне в этом объекте. Объект состоял из большого металлического квадрата, на который следовало вставать, причем он слегка пружинил под ногами. Квадрат был снабжен металлическим столбиком, на котором (примерно на уровне глаз стоящего на весах, если взвешиваемому было лет под девять) располагалась подвижная градуированная шкала из толстого и блестящего металла, а по шкале перемещался тяжеловесный цилиндр из того же металла, настолько гладкого, что он обладал отражающими свойствами. Взвешиваемый мог рассмотреть на поверхности цилиндрика свое исхудалое, вытянутое лицо, а также освещенный неоновым закуток поликлиники, где из керамического вазона (прилепившегося к стене, словно ласточкино гнездо) свисали бессильные и печальные стебли традесканции – традиционная меланхолическая флора учреждений, больниц, почтамтов и прочих присутственных мест, – это растение всегда казалось почти безжизненным, растратившим все свои силы в неведомой борьбе, бессильно опустившим руки, – и эти его свойства как нельзя лучше гармонировали с долгими ожиданиями, тусклыми волнениями и томительной скукой. В глубине неоновой пространства маячило поликлиническое окно, а за ним, как правило, проступало нечто заснеженное, бело-черное или же синеватое в силу ранних сумерек, потому что затяжные простуды, бесконечные летаргические недомогания, сопровождающиеся повышенной температурой, имели обыкновение являться в начале зимы, чтобы продлиться затем до влажного и подспудно тревожного апреля. И все же, несмотря на опрятное уныние этих коридоров и кабинетов, залитых ярким неоновым светом, несмотря на легкую жуть, проступавшую в разноцветных пластмассовых телах детских игрушек, никому не принадлежащих, присутствующих здесь лишь ради временного развлечения не вполне здоровых детей (все эти поликлинические игрушки были одутловаты, легковесны, как бы даже пузырчатые – легкие, ядовитых оттенков Чебурашки, большие Крокодилы Гены, элементарные клоуны, коты-обмылки, космонавты, маленькие красноармейцы, – если таких уронить на кафельный пол, то они катились, полые, словно легковесные кегли, издавая гулкий звук, свойственный чему-то сугубо пустому и отчужденному), – несмотря на все эти вроде бы не вполне очаровательные аспекты, я все же любил дет-

скую поликлинику. Более того, я любил даже те долгие недомогания, те простуды и острые респираторные заболевания, которые и служили причиной моих визитов в это медицинское здание, обращенное своим стерильным лицом в сторону детей. Причина моей приязни была проста: поликлиника в сочетании с болезнями обещала мне свободу. В этих неоновых кабинетах меня освобождали от школы, которую я ненавидел всеми фибрами своей незрелой души. Ради того, чтобы не ходить в школу, я готов был на большие жертвы – я соглашался пить приторную анисовую микстуру от кашля и глотать янтарный рыбий жир, сервированный в столовой ложке, я пил даже омерзительно горькую жидкость под названием «хлористый кальций», а эту субстанцию следовало смешивать с теплым молоком, – и, хотя вся моя душа и все мое тело вопили от ужаса при виде молока, я все же вкушал это тошнотворное пойло ради тех дней, недель, а иногда и даже месяцев свободы, которыми одаривала меня детская поликлиника. Я жертвовал обожаемыми скольжениями с ледяных горок, я отказывался от вожделенных дворовых игр, от метания снежков, от санок и лыж, от лепки кособоких снеговиков, от румяных лиц моих друзей и подруг – и все лишь для того, чтобы как можно дольше не переступать порог ненавистного учебного заведения.

Я никогда не спрашивал себя: почему я так истово ненавижу школу? Ведь, строго говоря, там не происходило ничего столь уж чудовищного. Но я не думал об этом – ненависть к школе казалась мне столь же естественным делом, как дыхание или испражнение.

И все же я полюбил весы не потому, что они принадлежали к освобождающему миру детской поликлиники. Весы были прекрасны сами по себе – нечто совершенно завораживающее содержалось в этом объекте. Причем гипнотический эффект этой вещи не имел никакого отношения к ее функциональному назначению, то есть к взвешиванию. Мне было насрать на то, сколько я вешу, и моя худоба, внушающая тревогу взрослым, мне самому не внушала никаких опасений. Я считал, что быть тощим так же естественно, как ненавидеть школу.

И вот, в один из вечеров, лежа в кровати перед засыпанием, я обратился к Высшим Силам с просьбой. Я попросил весы. То есть очень вежливо и ненавязчиво попросил: если, мол, это не противоречит ничему существенному, нельзя ли мне предоставить в личное пользование такие же весы, на которых меня взвешивали в поликлинике?

Каково же было мое изумление, когда на следующий день утром я вышел из квартиры и увидел, что в коридоре, прямо напротив нашей двери, стоят точно такие весы, которые я так необдуманно осмелился попросить. Я был настолько потрясен таким быстрым и фронтальным исполнением моей глупой просьбы, что даже не сделал ни одной попытки затащить этот тяжеловесный агрегат к нам домой. Родители наверняка не разрешили бы мне отяготить квартиру столь громоздким и совершенно ненужным объектом (дома меня никогда не взвешивали, да и никто не взвешивался – зачем, собственно? Глупость какая-то). Но я даже не попытался их уговорить. Я вообще ни слова не сказал ни о молитве, ни о моем приколе на весах. Честно говоря, меня слегка испугал молниеносный ответ Высших Сил на мою просьбу. Это напоминало отрезвляющий щелчок по лбу. Легкий щелбан. Ты хотел весы? На, вот тебе весы. В этом ответе мне почудилась какая-то высшая ирония. Ты попросил, мы ответили. Как ведром по голове. Я понял, что с молитвой лучше не шутить.

Поэтому весы так и остались стоять в коридоре. Они простояли там пару дней, а потом исчезли.

Итак, я вкратце рассказал эту историю в телефон, общаясь с незнакомым мне голосом журналиста. Через некоторое время кто-то передал мне уже вышедший номер журнала с моим рассказом о весах. Там была даже иллюстрация: незнакомый мне художник изобразил меня в виде курчавого мальчика в пионерском галстуке, стоящего на коленях перед весами.

Через десять лет после описанного мной телефонного интервью эта мистическая история получила свое продолжение. И снова имело место интервью. На вернисаже некой выставки ко мне подошла дама лет шестидесяти пяти или чуть старше, приятная, моложавая, с блестящими глазами. Она сказала, что она журналистка и хочет взять у меня интервью для какого-то издания.

– К тому же я хочу рассказать вам кое-что, – добавила дама, – это может вас заинтересовать.

Я был заинтригован, но тут же забыл об этом. Она позвонила мне через несколько месяцев и напомнила про обещанное интервью. Мы встретились с ней в кафе, записали интервью, а после она сказала, блестя своими моложавыми глазами:

– Я обещала вам кое-что рассказать. Десять лет назад я прочитала в одном журнале ваш маленький рассказ «Весы». Рассказ про небольшое чудо, с вами случившееся. Так вот, хочу вам сообщить: это были мои весы. Я была вашей соседкой по лестничной площадке. Вы меня не помните, а я прекрасно помню ваших родителей и вас – вы тогда были маленьким мальчиком. А я была тогда молодой матерью. У меня родилась маленькая дочь, и я должна была взвешивать ее каждый день – поэтому мне и привезли эти весы. В какой-то момент необходимость в этом отпала, и я решила избавиться от весов. Я выставила их на лестничную клетку – вдруг они кому-нибудь пригодятся? Но их никто не забрал. Через несколько дней я отдала эти весы одной своей знакомой. А знаете... – Дама задорно и даже игриво сверкнула глазками. – Я ведь очень нравилась вашему папе. Ваши родители уже развелись тогда, и ваш батюшка оказывал мне кое-какие знаки внимания. Но я была замужем, так что... ничего не вышло. А то бы могла стать вашей мачехой. – Дама звонко и весело рассмеялась наподобие седого колокольчика.

Глава шестая

Вещи

В предшествующей главе затронута тема, имеющая значение для каждого детства. Дети (да и не только дети) испытывают эффект очарованности неодушевленными предметами, их завораживают и околдовывают вещи, открывающиеся им как некие миры. Взрослые тоже подвержены гипнотическому воздействию вещей, однако это гипнотическое воздействие, которое взрослые остро ощущают на себе, в большей степени подчинено законам фетишизма. Вещь для фетишиста, как известно, замещает собой иной вожеленный объект, или же она выступает в качестве символического воплощения тех аспектов бытия, к которым тянется взрослое существо. Женщины любят, как принято полагать, драгоценности, украшения, красивую одежду и обувь, аксессуары, домашних животных, детей, красивые флаконы, шкатулки, керамику, мебель, игрушки. Мужчины (согласно общепринятому мнению) любят автомобили и другие транспортные средства, оружие, инструменты (включая музыкальные), спортивные объекты, ботинки, хищников, курительные принадлежности, дорогую или, наоборот, старую и привычную одежду, гаджеты. Все обожают компьютер. Персоны, достигшие в обществе привилегированного положения, любят объекты искусства – эти объекты, как правило, не вполне понятны массам, и обладание ими доставляет коллекционеру сладкое чувство исключительности. Маги и мистики любят предметы силы, объекты, обладающие необычной аурой или силой воздействия. Короче, все эти приверженности обладают социально-психологическими основаниями, по большей части достаточно очевидными, и только дети или же люди, находящиеся в психоделическом состоянии, обожают вещи как нечто неопознанное, поразительно-странное: они воспринимают иногда вполне обыденные предметы как зашифрованные послания, пришедшие из неведомого мира, как артефакты, свидетельствующие о грандиозных событиях, которые навсегда останутся скрытыми, лишь отчасти проступающими сквозь покровы священного неведения.

В какой-то момент я составил список (или, точнее, эскиз списка) тех вещей, которые околдовывали меня в детские годы. Вот этот черновой набросок списка (я не стал включать в него весы, потому что про них я уже рассказал):

Термос

Зонты

Прозрачные и полупрозрачные стеклянные объекты: архаическая соковыжималка (так называемая «лимонница») из зеленоватого стекла

Голландские стаканы с пузырьчатыми ногами

Стеклянная корова

Старинные очки

Линзы: микроскоп, подзорная труба, увеличительное стекло

Швейная машинка

Пишущая машинка

Морские раковины и улиточные панцири

Окаменевшее среднее ухо кита (пепельница)

Сердолики, агаты и прочие полудрагоценные камни

Пуговицы

Ордена

Монеты

Гравюры (марки, ассигнации)

Коробки из-под сигар

Бутылки
Шляпы (мечта о цилиндре)
Лыжи
Санки
Лопата для разгребания снега
Секретер
Ширмы и веера
Складной стакан
Радиоприемники с выдвигающейся антенной (звуквоспринимающая эрекция)
Странная штука для монет (туда полагалось вдавливать монеты специальным нажатием пальца)
Металлический перекидной календарь
Тарелки (фарфор)
Ковры
Тапки

Небольшое примечание о зонтах. В ранние годы я рассматривал сложенный зонт как скопище лысых чернокожих жрецов в широких шелестящих одеяниях, собравшихся вокруг изогнутого тотемного столба. Одним движением руки я заставлял этих жрецов, этих магов, теснее прильнуть к молитвенному столбу. Они явно в экстазе совершали таинственный коллективный ритуал, а их святыня вздымалась над ними, совершая высоко над их головами таинственный, крючкообразный изгиб. Я гадал об особенностях этого культа адептов Гигантского Крюка, я воображал себе их мифы, их песнопения, их влажные жертвы. Так я развлекался (впрочем, и сейчас развлекаюсь) в часы ожидания, когда приходилось (приходится) мне скучать в транспорте или в коридоре какого-либо учреждения либо медицинского заведения, куда довелось мне явиться в дождливый день, захватив с собой зонт. И до сих пор, сжимая сложенный зонт рукой, гляжу я на него сверху и вижу этих лысых магов. Чаще всего они чернокожие, но случаются зонты, чьи маги бледноголовые.

Примечание о термосе. Термос, без сомнения, принадлежал к числу культовых объектов моего детства. Он был прекрасен снаружи (китайские термосы славились своими цветами и драконами), но еще прекраснее внутри. Заглядывая в термос, я созерцал зеркальную капсулу, покрытую капельками испарины, оставшимися от недавно выпитого горячего напитка.

Тогда я начинал понимать, что не все зеркала существуют ради отражений. Есть зеркала, ничего не отражающие, предназначенные для сохранения тепла.

Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции». К какой разновидности зеркал следует отнести Толстого? Он отражал революцию или же сохранял ее тепло?

Глава седьмая

Призрак мечты

На каменном парапете набережной сидел небольшой белый кот с хрустальными глазами. А рядом с ним стоял загорелый паренек, который вроде бы добивался чего-то от белого существа.

– Привет! Привет! – настойчиво повторял юноша, всматриваясь в окабаневшую мордочку животного. – Привет! Привет, говорю! Что же ты молчишь?!

Внезапно веселый парень дернул белый ус нечеловека, на что обитатель парапета лениво мяукнул.

– Привет! – настаивал удивительный любитель беседовать с животными.

– Мяу, – ответил кот, когда его снова потянули за ус.

– Зачем вы мучаете бедное животное? – вмешался я.

На это юноша очень бодро и весело ответил, улыбаясь всеми фрагментами своего лица:

– Это мой друг. Он живет здесь и никуда отсюда не уходит. Я его все время кормлю. Еды ему приношу. Но я его не только кормлю, но и воспитываю – он должен со мной здороваться.

Молодой человек расплывался в улыбке, его глаза на бронзовом лице кокетливо хохотали. Я даже не успел внимательно окинуть взглядом этого загадочного отдыхающего, как он уже оставил нас с котом, на ходу крикнув мне, чтобы я приходил вечером в кафе «Степан», что в «Степане» мол дико весело и что его зовут Аким Мартышин.

Когда этот загадочный молодой человек скрылся в аллее, я присел на корточки и, следуя мартышинскому примеру, несколько раз обстоятельно поздоровался с белым котом. Но ответом мне был только безмолвный хрустальный взгляд.

Бездонные, как сладкий космос, глаза кота напомнили мне светящиеся очи Нелли Орловой.

Я вспомнил картину, что висела у Нелли. Картину с изображением старинной виллы. Внезапно я осознал, что не смогу жить, если не отыщу эту виллу.

Я медленно бродил в задумчивости, пока не узрел иную виллу – эта оказалась псевдоготической, заброшенной, с выбитыми окнами, местами заколоченными старыми досками. Ржавая крыша, острая трава на щербатых карнизах. Я подумал о людях, которые когда-то жили здесь.

Передо мной разорванными хороводами пронеслись их вечера. Долетал их смех. Мне казалось, даже обрывки русских и французских фраз шелестели в спутанных зарослях окрест виллы. Хрустящий трепет... Грассирующие снаряды чужой памяти... Но вдруг я услышал уже знакомый мне голос:

– Привет, Кай! – взглянули на меня морские глаза. – Мы теперь будем везде друг друга встречать!

Передо мной стояла девушка, с которой я успел познакомиться на пляже.

Однако можно ли считать знакомством этот пляжный разговор? Я успел заметить пару ее плавных жестов, которые, видимо, она совершала с наслаждением, но, кроме ее предложения убить пятерых неизвестных мне людей, я мало что помнил из нашей пляжной беседы.

– Меня зовут Бо-Пип, – произнесла она. – Все меня здесь так называют. Впрочем, можешь звать меня просто Бо. Знаешь стишок?

Ах, дело не шутка, ведь наша малютка
Бо-Пип потеряла овечек.

Пускай попасутся – и сами вернуться,
И хвостики с ними, конечно.
Бо-Пип задремала и тут услышала,
Как рядом топочут копытца.
Проснулась – и что же? – ничуть не похоже.
Никто и не думал явиться.
Взяла посошок и пошла на лужок,
И твердо решила найти их.
И впрямь углядела – но страшное дело! –
Ведь хвостиков нет позади них.
Давно это было, и долго бродила
Бо-Пип, и скажите на милость –
За рощей кленовой, на ветке дубовой
Висели хвосты и сушились.

Я почувствовал, что меня словно бы неожиданно посвятили в некую религию под названием Бо-Пип. Я еще не знал правил, молитв и ритуалов этой религии, но уже слегка догадывался о них.

Влюбленный человек – это зеркало. И, вне всякого сомнения, я скоропалительно возжелал отражать Бо-Пип в ее различных нарядных платьях и без них, стоящую, бегущую или танцующую на фоне моря, на фоне гор, на фоне серых скал, поросших кривыми кустарниками, на фоне гротов, арок и колонн, на фоне заснеженных лесов, на фоне хвойных лабиринтов, орошенных быстрыми или медленными дождями. И в особенности я желал наблюдать ее на фоне той виллы, которая мне так мистически приглянулась на картине, увиденной мною в Поселке Наук. Поэтому я спросил Бо-Пип, известно ли ей что-либо относительно виллы в можжевельной роще.

Светящееся личико Бо-Пип стало слегка печальным.

– Ты ищешь эту виллу, но в некотором смысле ты живешь в ней, – сказала она. – Увы, эту прекрасную виллу снесли лет двадцать тому назад. А на том месте, где она стояла, построили тот искрящийся белоснежный отельчик, где проходит твой приморский отдых, дорогой Кай. Мне не так уж много лет, поэтому я эту виллу видела только на фотографиях, но дед мой до сих пор любит рассказывать легенды об этом маленьком дворце, когда-то слывшем жемчужиной нашей бухты. Якобы эту виллу построил в самом начале двадцатого века один океанский капитан, решивший провести здесь свои преклонные годы после того, как он избородил все моря. Ходят слухи, что он назвал виллу в честь своего корабля, в честь парусника «Мечта». Или это был не парусник, а паровой корабль – не знаю. Известно только, что когда-то этот корабль видели во всех портах мира, а его капитан слыл отважным мореплавателем. Итак, этот корабль также называли «Мечта», только вот на каком языке – неизвестно. Говорят, он ходил под американским флагом, да и сам капитан был американец, причем родом из североамериканских индейцев, что редкость среди капитанов дальнего плавания, потому что, по слухам, индейцы не любят выходить в открытое море. Легенда гласит, что, когда после долгих странствий капитан вернулся на родину, он столкнулся с какими-то отвратительными несправедливостями, упавшими на головы людей его племени. Возмущенный этими обстоятельствами, наш обветшалый мореход решил навсегда покинуть Америку и выбрал наши края, чтобы бросить здесь якорь. Но ходят и иные слухи об этом капитане. Судачат о его богатстве – и в самом деле, с чего бы это он был так богат, этот соленый и йодистый индеец? Так богат, чтобы выстроить себе виллу дворцового типа, и разбить вокруг нее можжевельный парк, и на этой вилле вальяжно проводить свою соленую и йодистую старость в нашем курортном нежном уголке. А этот курорт в те времена считался весьма изысканным – настолько, что его то и дело сравни-

вали с Нищей. Ну, конечно же, циркулируют в сказаниях версии о сокровищах, привезенных из дальних стран, – ведь люди жить не могут без побасенок о кладах. Напекают некоторые, что капитан был в молодости, мягко говоря, не совсем честен, что он обладал темной и запутанной биографией и что вовсе не притеснения по отношению к индейцам, а его собственные тайны и не вполне законный его капитал – именно это заставило его покинуть родную Америку и затаиться в нашей пиратской бухте. Да, наша бухта когда-то была пиратской. И многие желали бы и в лице капитана-индейца обнаружить старого пирата. Но это мифы. Все это, дорогой Кай, не более чем wishful thinking. Или же, говоря по-нашему, мечты, а капитан-индеец, видимо, любил это русское слово. Слово «мечта» связано с морем, недаром оно лишь одной буквой отличается от слова «мачта». Слово «мечта» родственно отметке на морской карте, но не следует забывать, что это слово таит в себе меч и созвучно индейскому словечку «мачете». Башня, напоминающая мачту и меч, возвышалась над виллой «Мечта», но виллы больше нет. Однако кое-кто утверждает, да еще с запалом, что корабль, в честь которого капитан назвал свою виллу, существует и все еще на плаву. Встречаются личности, настаивающие на том, что видели этот корабль. Подумать только, даже этим не ограничиваются наши мифотворцы! Самые дерзкие из них готовы часами убеждать своих собеседников в том, что не только корабль, но и его капитан-индеец все еще жив. Более того, он якобы по-прежнему обитает в наших краях, но видят его немногие – говорят, он является некоторым впечатлительным странником в день, когда они впервые достигают нашего селения. Это считается счастливой приметой! – Бо-Пип внезапно мне подмигнула, затем звонко рассмеялась и вдруг исчезла, юркнув в незаметную калитку, скрывающуюся среди густых кустов. Впрочем, прежде чем калитка затворилась предо мной, рука Бо-Пип помахала мне из-за этой зеленой дверцы, на которой была начертана цифра 7. И она крикнула мне, почти повторив слова Акима Мартышина.

– Приходи вечером в «Степан». Я тебя кое с кем познакомлю. Пока, Кай!

– Покавай! – фамильярно повторило кипарисовое эхо.

И я отправился к себе в отель, чтобы в задумчивости последовать этому доверительному совету.

В своем номере я опять лицезрел белую занавеску, развевающуюся за окном. А за этим знаменем медленно и ароматно сгущался курортный вечер. Небо над горами пребывало в упоении относительно своего многоцветия: оно приобрело пурпурные и алые муаровые ленты, словно старый сановник, и эти ленты рдели на фоне его мундира, чей цвет на глазах переходил от сливы, тронутой патиной, к черносливу яркому и блестящему. Горы становились все темнее, зажглись огоньки, и одновременно с огоньками зазвучала музыка: сотни песен сочлились из разных точек пространства и воспаряли над полупустынным поселком, сплетаясь в воздухе, образуя над скалами, ржавыми крышами и кипарисами диффузную зону звука, где совершалось броуновское движение аккордов и слов, воспевающих разлуку, измену, ревность, любовь, разочарование, нежность, обиду, готовность к действию, танцы, сексуальную озабоченность и сексуальную беззаботность.

Создавалось ощущение, что музыки здесь гораздо больше, чем людей, желающих ею насладиться. Казалось, количество поющих голосов значительно превосходит количество внимающих ушей, потому что улочки поселка еще не заполнились вечерними гуляющими. В заведениях еще не галдели пьяные, еще не извивались танцующие, а музыка уже звучала повсеместно, и по маленьким танцполам уже носились разноцветные пятна, но лучи не высвечивали пока ни одной пляшущей фигуры.

Звучали одновременно песни разных десятилетий, сообщая о том, что приморские обитатели открыты всем временам, как и само море. Многие песни (как веселая девичья попса, так и меланхоличный мужественный шансон) обращались к маме. И, видимо, небо было этой мамой, потому что оно утешало и смешивало воедино все поющие сердца.

Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова.
А вокруг тишина,
Взятая за основу...

Или:

Мама Люба, давай, давай, давай.
Мама Люба, давай, давай, давай

Или:

Мой любимый самый,
Улетаю, таю – ну и пусть.
Не звони мне, мама,
Я сегодня ночью не вернусь...

Или:

Мамма! Мамма mia! Let me go again!

Или:

Не жди меня, мама,
Хорошего сына...

Или:

Muter! Muterrrrr!!!

Встречались в песнях и такие адресаты, как «Мама Одесса», «Мама Америка» и даже «Мама Галактика».

Или:

Скажи мне, мама,
Сколько стоит моя жизнь?

Или:

Мама, я жулика люблю,
Мама, я за жулика пойду.
Жулик мой в кандалах,
А я фраера в шелках.
Мама, я жулика люблю!

Или:

Mother! Mother! Let me...

Или:

Возьми две копейки,
Домой позвони:
До свиданья, мама!

Все эти голоса звучали из воздуха, как голоса бесплотных духов, расставшихся с телами, и все они зывали к матери, как к самой материи, то умоляя о возвращении в бренный мир, то требуя отпустить их на волю, требуя окончательного освобождения: «Mother, Let me go! Мамма mia, Let me go again! Мамма, never, never Let me go!»

Но ни то ни другое невозможно: никогда эти голоса не вернутся в тела теплые и вертявые, и никогда тела не отпустят их от себя: они всегда будут вращаться вокруг тел, обеспечивая их танцы, совокупления, опьянения, питая их отдыхом и радостью, энергией и тоской, соборностью и одиночеством.

Конфуций спросил: «Разве небо говорит?» Нет, небо не говорит, оно поет. Поет тысячью голосов, воспаряющих над землей.

Глава восьмая

Стихи и рисунки моей мамы

Когда мне было шесть, семь и восемь лет, мы с мамой и папой жили втроем, в трехкомнатной квартире на одиннадцатом этаже большого белого брежневского дома. Та местность казалась отдаленной от городского центра, недавно застроенной белыми простыми жилыми домами, вокруг еще сохранялось какое-то слегка растерянное состояние окраины, насыщенное как бы отчасти диким простором, а за окнами нашими разверзалось раздолье настолько открытое, что в ясную погоду видно было, как на горизонте вспыхивают золотыми искорками очень далекие, но все же узнаваемые купола кремлевских соборов. «А из нашего окна площадь Красная видна» – говорилось в известном детском стишке. Но нет, из нашего окна Красную площадь было не разглядеть, но микроскопическая колокольня Ивана Великого прочитывалась довольно отчетливо на линии горизонта, а рядом посверкивала на солнце крошечная грибница храмовых куполов. Ночами же золото этих куполов гасло и растворялось во тьме, но маленькими красными точками светились между землей и небом кремлевские звезды. Линия горизонта мощно присутствовала в той квартире (в наших трех комнатах, которые казались мне очень большими и постоянно облитыми ясным небесным светом, царствовала какая-то доверчивая распахнутость, некая незащищенность в отношении небес), и, в общем-то, мы трое жили там как бы под гипнозом этой линии, а ведь горизонт этот был городским, урбанистическим, московским, и все же нечто проступало в этом ландшафте от неосвоенной планеты, от разросшейся до гигантских размеров орбитальной станции: невозможно было поверить, глядя из наших окон, что мы живем в древнем городе, где когда-то торговали соболями на рынках, где цари в атласных халатах восседали на своих узорчатых тронах, а парчовые боярские кибитки вязли в жидкой грязи между дощатыми тротуарами. Из моего окна открывался мне город, казавшийся мне построенным совсем недавно и вроде бы не предназначенный для долгого дальнейшего существования: не столько город, сколько временное техническое поселение, гигантское, но непрочное, и даже далекие храмовые купола оборачивались в контексте того окна какими-то техническими агрегатами, чем-то вроде огромных катушек, плотно опутанными толстыми нитями из полудрагоценных металлических сплавов – то ли ради концентрации солнечной энергии, то ли ради иных нужд, связанных с прагматическим распределением небесных сил по каналам технического обеспечения этой обширной колонии, где массы колонистов живут и работают, постепенно накапливая сведения о совершенно новом для них мире, куда их забросила неведомая мне логика оголтело-отважного и трудолюбивого эксплоринга. Моя мама в тот период постоянно рисовала этот горизонт, он сделался героем множества ее рисунков, нередко он изображался темнеющим, предвечерним, а небо над этой неровной линией приобретало цвета заката, оно становилось оранжево-красным, плотно утрамбованным, даже слегка лоснящимся, потому что над ним плотно и неторопливо поработали несколько красных, оранжевых и желтых карандашей. В этом небе над городом чаще всего летел или парил раскрытый зонт – белый, ярко-желтый, или же черный, или же сливочно-розовый. Этот зонт не был объят пламенем, но все же он был горящим зонтом – он горел, как фонарик, в этом закатном небе, как Неопалимая Купина, как окна вечерних домов, как звезда любви. И при этом оставался одиноким, потерянным. Потерявшимся в небесах. Моя мама любила изображать или описывать объекты, унесенные ветром или же парящие. Штаны, улетевшие с балкона и совершающие свой полет над городом. Бесчисленные летящие зонты. Воздушные шарики, ускользнувшие из жадных детских рук. Домики, летящие в небе, как украденный ураганом фургончик девочки из Канзаса. Букеты цветов, подброшенные в воздух какими-то восторженными руками, но забывшие приземлиться. Домики

на маминых рисунках иногда парили в небе целыми небесными группами, небольшими левитирующими поселками. Собственно, и наша квартира была таким домиком, висящим в небесах. Непрочность и бесосновательность такого воспаряющего существования очевидна. Но не менее очевидна и присущая такому существованию эйфория.

Еще одним объектом, висящим в небесах (точнее, в данном случае, свисающим с небес), часто являлось яйцо на нитке – этому объекту посвящена большая серия маминых рисунков. В тот период мы часто изготавливали такие легковесные сувениры. Все знают, как это делается: берется сырое яйцо, в точке его максимального заострения (макушка яйца) делается маленькое аккуратное отверстие, затем содержание яйца осторожно вытряхивается или высасывается – остается пустая легкая скорлупа, сохранившая свою форму. Затем берется маленький обломок спички, к которому привязывают нить. Кусочек спички осторожно просовывается в отверстие – и вот оно перед вами, яйцо на нитке. Оно почти невесомо, хрупко, но нетленно. Его можно вешать на лампы, на новогодние елки, на фронтоны книжных шкафов – повсюду, где ветер и неосторожные руки не разобьют его. Скорлупу можно разрисовать акварелью, обрызгать каплями жидкого золота или же оставить как есть – в любом случае этот объект приобретает легковесные магические свойства.

Непрочность и хрупкость часто становились предметом описания (даже, можно сказать, объектом поэтической глорификации) в маминых стихах. Вот ее известные детские стихи про синюю чашку.

Синяя чашка красивой была.
Но как-то упала она со стола,
И серые-серые мышки
Схватили осколки под мышки.
Так и случилось, что в темный подвал
Синего неба кусочек попал.

А вот другое стихотворение, написанное вскоре после того, как мы встретили зловещий 1986 год – год, который разлучил нас.

ЕЛОЧНЫЙ ОГУРЕЦ

Ты – стеклянный огурец,
Огурец ненастоящий,
Подозрительно блестящий,
Даже мертвый, наконец.
Ты зачем висишь на ветке,
Грея лампочки в боках?
Огуречик ты некрепкий,
Вот свалился ты – и ах!
Ах, как много сверкающих, тающих,
Блескучих, поющих осколочков
Дрожало, лежало, визжало
На полочках.
А?

На новогодней нашей елочке, которая в том году была убогой, словно испуганной, действительно висел, среди прочих елочных игрушек, такой зеленый, пупырчатый, елочный огу-

рец. И он и правда упал и разбился, превратившись в россыпь осколков, каждый из которых был с одной стороны зеленым, а с другой, вогнутой стороны, – серебристо-зеркальным. Все мамины стихи, написанные той суровой последней зимой, заканчиваются вопрошанием «А?» – словно бы автор под конец каждого стиха слышит некую невнятную реплику или вопрос, проходящий извне, и переспрашивает с оттенком недоумения: «А? Что?» Вся жизнь человеческая – это такое переспрашивание, вежливая попытка уточнить недорасслышанное: «Что? Как? Что вы сказали? Зачем?» Множество маминых стихов разных периодов построены в форме диалога, в ходе которого беседующие или же не вполне отчетливо слышат или не вполне отчетливо понимают друг друга, как если бы разговор происходил в грохочущем поезде или на вечеринке, где звучит громкая музыка, или в заводском цеху, где гремят станки, или же вблизи огромного водопада. Голос стиха кажется самому себе настолько тихим, что ему постоянно приходится пробиваться сквозь внешний шум, но и возможность диалога, возможность получить сообщение – эти возможности также затруднены. Да и сам диалог, само сообщение – они под вопросом, они тоже предмет сомнения: стоит ли услышать то, что было сказано? Или следует ускользнуть, умыкнув с собою лишь осколок неведомой речи – кусочек синего неба или пупырчатый фрагмент елочного огурца? Поэтическая речь всегда содержит в себе некий профетический импульс, который, дай ему только волю, может ввести в заблуждение или же в искушение. В стихах моей мамы постоянно происходит скрытая борьба с этим профетическим импульсом, все речи распадаются на фрагменты, не вполне ясные, как бы не до конца расслышанные, но оттого еще более мистические и завораживающие:

Постойте, что-то не пойму,
Простите, не пойму я что-то,
Что притаилось в том дому,
Где заколочены ворота?
Зачем и кто открыл окно?
Скрипучие фрамуги взвыли.
О Боже, там лежит оно
Под толстым, тяжким слоем пыли.
О Боже, там лежит оно.
Оно мертво и недвижимо.
Окаменевшее зерно
Само в себе неразрешимо.
Зачем же надо ворошить
Всю эту каменную мерзость,
Когда всего лишь просто жить –
И то уже большая дерзость?

Глава девятая

Социализация в детских коллективах

Социализация в детских коллективах. Любой извне сформированный детский коллектив (палата детской больницы, группа детсада, школьный класс и прочее) быстро разделяется на две антагонистические группы. Условно говоря, разделяется на «отличников» и «хулиганов». В первую группу входят дети, лояльно относящиеся к тому миру, в котором они оказались (больница, интернат, детский сад, школа). Они принимают правила, им предложенные, стараются соответствовать им, преуспевают или хотя бы стараются преуспеть в учебе, прилагают усилия к тому, чтобы завоевать одобрение педагогов, наставников, воспитателей, надзирателей или медицинского персонала. Они соревнуются друг с другом в деле получения хороших отметок, призов, положительных отзывов и прочих поощряющих сигналов, приходящих из мира взрослых. Внутри своей группы «отличники» стараются завоевать уважение друг друга, занять более привилегированную позицию в своем сообществе. Эта группа детей, как правило, на равных включает в себя оба гендера: мальчиков и девочек среди «отличников» примерно одинаковое количество (если дело происходит в межгендерном коллективе).

Во второй группе («хулиганы»), как правило, преобладают мальчики. Иногда такая группа состоит исключительно из детей одного пола (банды «хулиганов» и «хулиганок»), но по большей части и мальчики, и девочки присутствуют в «хулиганской» группе, но девочки остаются в меньшинстве. Эта группа незаконопослушна, отвергает правила «легального» мира, ориентирована на физическую силу, выносливость, отвагу, удаль, лихость повадок и поступков и прочее в этом роде. В группу входят дети, склонные к насилию, но умеющие подчиняться законам группы. И в той и в другой группе появляются лидеры или лидер. В первой группе – дети, наиболее способные к учебе и организационной работе. Во второй – наиболее сильные, жестокие, лихие. Вторая группа нуждается в жертве.

Как правило, жертва выбирается из слабых представителей, непрочно примкнувших или желающих примкнуть к группе «отличников». Вторая группа как бы идет по следам первой, охотясь на тех, кто отстал или отбилсся от своей стайки. Иногда жертву выбирают среди одиночек, отщепенцев. Иногда жертва входит в криминальную группу как особая персона, предназначенная для унижений и издевательств, – козел отпущения.

Я, оказываясь (не по своей воле) в детских коллективах, никогда не принадлежал и не хотел принадлежать ни к первой, ни ко второй группе. Я плохо учился, не принимал правила и законы детского учреждения, стараясь обойти или пренебречь ими при любой возможности. Я не искал одобрения или симпатии со стороны учителей, нянь, воспитательниц, медсестер. С другой стороны, я не был сильным, агрессивным, склонным к насилию, способным принять негласные законы хулиганского или протокриминального сообщества. Никогда не стремился к их шайкам, не искал себе места среди хулиганов, не старался завоевать их одобрение или восхищение.

Казалось бы, я был обречен на одиночество в этих детских коллективах. Я был полностью готов к этому одиночеству, настроен на него. Но я не оставался один. Никогда. В любом детском коллективе, разделившемся на две вышеописанные группы, присутствует несколько отщепенцев – социальный шлак как бы, непутевые. Дети, которые по разным причинам не могут либо не хотят примкнуть к «отличникам» или «хулиганам». И эти отщепенцы объединяются, образуют собственную шайку или дружеское сообщество. Дети, не отличающиеся физической силой и способностями к учебе, недисциплинированные, слабые, асоциальные, со странностями. Как правило, их немного – от трех до пяти. Иногда двое. Редко цифра доходит до шести, но случается.

Везде и всегда, во всех детских учреждениях, я становился частью этого третьего сообщества. Это – зародыш богемы. Союз отверженных. Союз дураков. Чем занимаются эти дети? В основном смеются. Постоянно ржут, как идиотики, по любому поводу и без повода. Совершают нелепые выходки. Рассказывают друг другу сказки и байки. Эта «богемная» детская группа бывает столь же межгендерна, как и группа «отличников». Но, в отличие от групп «отличников» и «хулиганов», в «богемной» группе, как правило, нет лидеров, нет авторитетов. Сплошное отрицалово. Эти дети не ищут одобрения ни со стороны взрослых, ни со стороны сверстников. Иногда их двое. Яркий пример такой пары – Бивис и Батт-Хед. Макс и Мориц. Кривляки, шалуны, отъехавшие. Но не хулиганы. Слишком погруженные в себя, слишком глупокомысленные или слишком легкомысленные. Слишком тупые и при этом слабые. Девиантная группировка. В этих сообществах я чувствовал себя как рыба в воде.

В «богемной» группе много плюсов, но есть и свои минусы. К обаятельным сторонам такой шайки относится прежде всего следующее: никто не подделывается, не трансформируется в угоду группе. Все принимают друг друга такими, какими они являются, со всем буйством качеств. Группа объединяется вовсе не по принципу более удобного или успешного выживания в общем социуме, но исключительно ради той эйфории, которые представители детской богемы способны порождать в душах своих соратников. Флюид «богемной» группы – беспричинное веселье, нелегальный хохот, демонстративная тупость во всех перспективных с точки зрения общества направлениях – социальная тупость, часто восполняемая разгулом воображения, безграничным и наслажденческим словоблудием (хотя среди отщепенцев неизбежно присутствуют и тотально молчаливые, заики, логофобы, катастрофически застенчивые). Каковы же минусы «богемной» группы? Главный минус – полное отсутствие солидарности. А также того, что называют взаимовыручкой. Никто никому не помогает за рамками взаимного развлечения. В случае если «хулиганы» или «власти» (официальные структуры детского учреждения) атакуют или репрессируют одного из членов «богемного» сообщества, группа не защищает своего или свою. Сочувствует, но не помогает. Предоставляет эмпатическую поддержку, но не действенное участие. Не то чтобы каждый сам за себя. А просто – каждый ни за кого. Никакой спайки в этой шайке.

Внутри себя «богемная» группа разделяется на две категории. К первой относятся дети, которые (возможно) хотели бы примкнуть к «отличникам» или к «хулиганам», но были ими отвергнуты. Ко второй категории принадлежат те, кто избегает «отличников» и «хулиганов» осознанно и по своей воле – это костяк «богемы», ее социальный скелет. Я уже сказал, что лидеров у «богемы» нет. Но костяк есть. Я всегда принадлежал ко второй категории.

«Отличники» и «хулиганы» относятся к «богеме» по-разному. В начале, когда «богема» еще не вполне сформировалась, «хулиганы» нередко проявляют агрессию или презрение к отщепенцам, иногда ищут среди них себе жертву или жертв. Но через некоторое время проявляется подспудная симпатия. Даже некоторое уважение.

«Хулиганы» (пролетариат, спортсмены, будущие военные, менты и преступники) в некоторой степени зависят от «богемных». Главный ужас и главная проблема детских учреждений – скука. И «хулиганы» страдают от скуки в паузах между своими делами (потасовки, тренировки и прочее). «Богемные» способны развлечь, если к ним подольститься, они – зародыш индустрии развлечений.

«Отличники» (протоинтеллигенция, будущие политики, журналисты, врачи, учителя, научные работники, инженеры, чиновники) пытаются не замечать «богемных», игнорировать их. Но в глубине души они ненавидят и презирают «богему» гораздо больше, чем «хулиганы». От скуки «отличники» не страдают: заняты учебой, чтением, организационной работой, легальным спортом. Поэтому «богема» кажется им ненужной. Они не могут смириться с наличием в обществе этого шлама, этого бессмысленного девиантного элемента.

Затем, уже во взрослом мире, «богема» становится агентурой народа, встроенной в тело интеллигенции, но не сливающейся с этим телом. Это отражается прежде всего в языке: интеллигенция избегает мата и жаргонизмов (как минимум в письменном тексте). «Богема» же не только говорит, но и пишет на матерно-сленговом языке. Удивительно, но сложный философский язык, насыщенный специальной терминологией, тоже воспринимается интеллигенцией как один из «богемных» сленгов (возможно, не без оснований). Поэтому интеллигенция относится к философским терминам с недоверием, продолжая поддерживать нормы «чистого, правильного и общепринятого» языка. Возникает скрытое, но непримиримое противостояние между интеллигенцией и интеллектуалами. Несмотря на кажущееся социальное родство, интеллектуалы ближе к «богеме», чем к интеллигенции. Поэтому интеллигенты боятся и избегают интеллектуалов. Интеллигенты смертельно боятся делириозного состояния речи, боятся инфантилизмов, программного словоблудия, психоделики, зауми, шаманских камланий и философской усложненности.

По мере своего взросления дети из «богемной» группы, как правило, теряют связи друг с другом. Для них вряд ли возможны «встречи одноклассников» или что-либо в этом роде. Повзрослев, они расходятся по жизни разными путями. Становятся артистами, сумасшедшими, художниками, поэтами, фриками, тусовщиками, оригиналами, наркоманами, отшельниками, религиозными адептами, модниками. Кто-то постепенно научается скрывать свои странности, кто-то избавляется от странностей. Большинство превращается в рядовых членов общества, лишь слегка окрашенных теми или иными причудами.

В детском саду на Пресне (а также в короткой цепочке из трех просторных дворов, прилегающих к этому детскому саду) сложилась у нас, пятилеток-шестилеток, такая вот дружная, но раздрызганная компания отщепенцев. Довольно большая шайка, можно сказать. Входили в эту шайку, кроме меня, Петя Геллер, Линда Спящая, Антон Замороженный, Костя Воробьев и Ерощка. А также примкнул к нам удивительный и никем не любимый мальчик по кличке Тип-Типунечка. Это я его так прозвал, и прозвище это приклеилось. Тип-Типунечка был, как сказали бы теперь, квир. Паренек с тяготением к трансгендеру. В те времена мы таких словечек не знали. Пухлый, неизмеримо надменный и напыщенный, он воровал у своей мамы губную помаду, лак для ногтей и тени для глаз. Видимо, он просто очень любил свою маму и старался всячески ей подражать. Украсившись своими силами, он выходил во двор. Губы его, постоянно вытянутые в трубочку, атели помадой. Перед собою он горделиво и манерно простирал свои руки с растопыренными пальцами. Ногти свои он покрывал вишневым или же малиновым лаком. Запах французских духов исходил от его убогой одежды. Ну и, конечно, тени для глаз... В общем, выглядел он чудовишно. Весь этот макияж он осуществлял самопально, криво и косо, с детской неумелостью. Если бы он был хотя бы красив или похож на девочку – может быть, это и породило бы некий впечатляющий образ, не знаю. Но Тип-Типунечка был толст, некрасив и на девочку не похож. Скорее он напоминал уменьшенный вариант какой-то сумасшедшей продавщицы или кассирши из гастронома. Но сам себе он нравился безумно. Он ходил по двору, раздувшись, как пузырь, от осознания собственной красоты. Естественно, он не мог спокойно миновать ни одну отражающую поверхность: застывал, любовался своим отражением, строил кокетливо-высокомерные гримасы, подсмотренные им у его мамы.

Стоит ли говорить, что он сделался объектом травли и издевательств со стороны всего детского населения наших дворов? Всю эту травлю и издевательства он переносил с поразительным хладнокровием, проявляя железобетонное упорство в своем стремлении к трансгендерному самоукрашательству. Иногда появлялись на его толстой шее крупные бусы. Мы над ним тоже издевались. И все же не препятствовали ему приклеиваться к нашей компании. Таковы законы «богемной» шайки: никакой отщепенец не может быть отвергнут. Впрочем,

мы ему вовсе не нравились, даже наоборот – внушали отвращение, но надо же ему было хоть с кем-то тусоваться? Кроме нас, его никто не принимал.

Он был глуп, как пробка. Глуп и высокомерен. Впрочем, эти качества, кажется, спасали его на избранном им хрупком пути.

Петя Геллер являлся притким озорником и потенциальным хулиганом, отторгнутым по каким-то причинам хулиганским сообществом. Может быть, его слили за еврейский его видок – не знаю. Он был самым энергичным и неумным в нашей компании, вечно его подбрасывала и раскачивала какая-то внутренняя пружина, сподвигая на разные неудобоваримые действия. Меня он тоже сподвигал на такие действия, а иногда я сподвигал его. Однажды мы совершили с ним совместно ужасный поступок – сломали, изорвали и истоптали красный флаг. Поступок поистине хулиганский, крайне опасный и глупый, свидетельствующий о том, что мы в нашем малолетнем идиотизме имели крайне смутные представления о символических ценностях советского общества. Случись такое в сталинские, или даже ленинские, или даже хрущевские времена – наше деяние могло бы повлечь за собой весьма прискорбные последствия не только для нас, но и для наших родителей. Но в небрежные брежневские годы нашего детства на этот поступок предпочли зажмуриться. Случилось это в детском саду. Воспитательницы настолько оцепенели в ужасе от содеянного нами, что сделали вид, что ничего не видели и не слышали. Испугались, конечно же, за себя, а не за нас, но нам это оказалось на руку.

«Богема» редко атакует «отличников». «Богеме» вообще не свойственно атаковать, но Петя Геллер все же был отчасти «хулиганом», переметнувшимся на сторону «богема». Во мне тоже изредка проскакивали какие-то хулиганские замашки, удивлявшие меня самого.

Короче, нас с Геллером очень бесил один мальчик из детсадовской группы. Звали его Сережа, и он был образцовым мальчиком. Воспитательницы на него нарядоваться не могли и всегда ставили его в пример другим детям. «Как же ты задолбал своей правильностью!» – сказано в треке группы «Кровосток». В общем, мальчик Сережа задолбал нас с Петей своей правильностью. Как-то раз он приперся в детский сад с красным флагом. Кто-то подарил ему, видимо, красный флаг – шелковый, на древке. Сережа просто лопался от счастья и гордости, тусуясь с этим красным флагом в детсадовском дворе. Мне стыдно признаваться в этом, но мы с Петей Геллером отняли у мальчика Сережи красный флаг, разломали палку, на которой он был укреплен, а сам флаг изорвали и втоптали в снег. Помню, как мальчик Сережа картинно и кинематографично рыдал, стоя на коленях в снегу, склоняясь над клочьями растерзанного флага.

Выглядело это все, как я теперь понимаю, просто чудовищно. Два оборзевших еврейских оторвыша надругались над народной святыней, ранив сердце прекрасного светловолосого русского мальчика с чистыми и честными голубыми глазами.

Поразительно, что этот гнусный наш поступок обошелся без последствий. Это было настолько за гранью, что никто ни слова не сказал. Мальчик Сережа тоже никому не пожаловался на нас. Видимо, он действительно был хорошим, добрым и честным мальчиком, а мы его обидели. Этот шестилетний человек воплощал в себе просветленную советскую этику в детском понимании. А советская этика в те времена (в отличие от сталинских времен) осуждала ябед, кляузников, жалобщиков и фискалов. Даже воспитательницы и учителя не слишком любили ябед. Доносчики случаются всегда, но в брежневские годы их не уважали даже те, на кого они работали. Кляузников и стукачей дружно ненавидели и презирали все – «отличники», «хулиганы», отщепенцы, взрослые.

Это очень контрастирует с нравами наших времен. Мне, позднесоветскому человеку, прискорбно и отвратительно наблюдать за тем, с каким энтузиазмом нынче стучат друг на друга в Сети. Нередко ссылаясь на высокоморальные мотивы – это особенно омерзительно. Стучат те, кто поддерживает власть, и стучат те, кто против власти. Стучат правые и левые, стучат приверженцы новой этики и новые феминистки. Это новейшее сетевое крысятничество вовсе

не считается предосудительным с точки зрения сетевого сообщества, крысятничество опять (как в ленинские и сталинские годы) подается как гражданский долг, как нерв гражданского общества, как проявление гражданской ответственности и сознательности. Стучат под благородным соусом борьбы за права человека, под соусом борьбы с коррупцией, под соусом борьбы с харассментом и абьюзом. Потекла эта гниль на этот раз с Запада, из Америки. Но все равно напоминает о партийных чистках, о комсомольском, блядь, горении на чистом и праведном огне. Студенты стучат на преподав: кто-то кого-то шлепнул по заднице, кто-то кому-то предложил стакан вина или чашку чая. Кто-то кого-то простебал или матюгнулся. Стучат даже на друзей. Даже на родителей, как во времена пионера-героя Павлика Морозова. Целые политические партии и движения рвутся к власти под широко развернутыми стягами борьбы с коррупцией. Считается святым делом стучать на чиновников, которые спиздили деньги и построили себе неправедные дворцы. Политические оппозиционеры вроде бы борются за свободу. Хуй бы там! Если бы действительно боролись бы они за свободу, вряд ли ключевым словом для них сделалось бы слово «Посадить!». Требуют посадить коррупционеров. Хотят стать властью. Праведная и высокоморальная власть гораздо страшнее и отвратительнее власти проворовавшейся и неправедной. Именно идейная и убежденная в своей правоте власть совершает самые отвратительные и чудовищные злодеяния. Выбирайте: что лучше – рыльце в пушку или клыки в крови? По мне уж лучше рыльце в пушку. Помилее, чем окровавленная пасть блюстителей нравственности и борцов за светлые идеалы.

Вернемся в детство. Было ли мне стыдно тогда за жестокую и глупую выходку с красным флагом? Нет почему-то. Но некая загадочная расплата за мой скверный поступок меня все же посетила. Удивительно, но я вдруг полюбил красный флаг после того, как надругался над ним. До этого происшествия красный флаг не вызывал у меня никаких чувств. Красные флаги, особенно в дни праздников, торчали и трепетали везде, возле каждого подъезда. Они воспринимались как нечто само собой разумеющееся, почти как листва на деревьях или снег зимой. Я как бы не замечал их – видел, но не осознавал. И тут вдруг, разорвав и растоптав красный флаг, я внезапно осознал, насколько он прекрасен. И мне страстно захотелось иметь свой собственный красный флаг. Подобным образом, годы спустя, я сделался увлеченным спиритом после того, как участвовал в срыве спиритического сеанса. Может быть, подобный сценарий заложен в моем имени – Павел? Апостол Павел был яростным гонителем христианства, а потом сделался ревностным последователем Христа. Каждый Павел начинается с Савла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.